

Асмодей Денница

Вкус ночи

Сыч&Сыр

18+

Асмодей Денница

ВКУС НОЧИ

«Автор»

2026

Денница А.

ВКУС НОЧИ / А. Денница — «Автор», 2026

Франция, 1891 год. В закрытой Библиотеке Ордена, где вековая пыль пахнет сухими розами, Мадлен де Монброн — дочь легендарного охотника и лучшая исследовательница тайного архива — находит манускрипт, которого не должно существовать. В ту же ночь в запертой комнате умирает наследник древнего рода Борегаров: две аккуратные ранки на шее, ни единого следа взлома. Значит, смерть вошла сквозь стены. Или правда всегда была внутри — в самом роде? Распутывая клубок старых проклятий, Мадлен оказывается в Бретани, где её ждут: виконт Жак, одержимый видением женщины с алыми губами; его родовой замок, полный зеркал, которые помнят слишком много; и Катрин — древняя, как сами скалы, вампирша, предлагающая сделку, от которой отказываться поздно. Охота оборачивается жертвой, расследование — исповедью, а единственный способ спасти того, кого любишь, — умереть и родиться заново. Другой. Навсегда. Она станет тем, на кого охотилась. И узнает, что у крови есть вкус — и у ночи тоже.

© Денница А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог: Кровь на страницах	5
Глава первая: Ночь, что дышит в руинах	37
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Асмодей Денница

ВКУС НОЧИ

Пролог: Кровь на страницах

Всякая книга есть кожа, снятая с чуждого времени: читать — значит примерить её на себя и с удивлением обнаружить, что она сидела по фигуре ещё до тебя.

Дождь в Париже шёл третью неделю, и дом Института промок так, как промокают не дома, а люди, забытые под водосточной трубой: камень отсырел до сердцевины, штукатурка в переходе вздулась пузырями, а в подвале, где стояли шкафы с делами, которых не должно существовать, пахло мокрой известью и мышами.

Над входом, под закопчённым навесом, в камень была врезана фраза, которую здесь называли девизом: «Когда истина слишком страшна для живых, её прячут в книги». Мадлен де Монброн, поднимаясь по этой лестнице дважды в день, давно решила, что вторая половина фразы принадлежит не тому, кто её придумал, а тому, кто её переписал. Книги не прячут истину. Книги её выдают — терпеливо, страница за страницей, тому, кто умеет читать не только буквы, но и то, что осталось между ними: сдвиг строки, пятно, чужой волос, слишком свежий шов.

В её кабинете было холодно.

Камин топили с утра, но известняк, из которого два с половиной века назад сложили эти стены, был умнее человека: он не нагревался, а запоминал холод и потом отдавал его обратно, ровно, без спешки, всю ночь. Мадлен сидела в кресле, поджав ноги под плед, и чувствовала, как стынет сначала левая рука, потом правая, потом плечи, и только потом — мысли. Виски ныли. Она потёрла их костяшками, раз, другой, и на коже остался след чернил: она испачкалась ещё утром и с тех пор забыла вымыть руки, потому что мыть руки — это действие для человека, у которого в запасе есть время.

Чая в чашке оставалось на два глотка, и он был отвратителен. Заварку она купила у разносчика на набережной, и разносчик, судя по вкусу, наполовину разбавил её дубовым листом; но третьего часа она не чувствовала ни вкуса, ни горечи, ни того, что чай давно остыл. Она вообще мало что чувствовала, кроме ноющего, тянущего напряжения где-то под грудиной, которое появилось утром, будто кто-то взял изнутри за ребро и медленно потянул.

На столе перед ней лежала книга.

Она лежала не так, как лежат книги, — не плоско, а чуть под углом, приподняв переднюю доску, потому что переплёт был старый и не желал закрываться до конца. Формат ин-кварто, тридцать два на двадцать три сантиметра, двести четырнадцать листов, дубовые доски под телячьей кожей. Кожа на углах затёрлась до блеска, как рукав у человека, который всю жизнь работает локтями на одном и том же месте. Две латунные застёжки; левая сломана, и от неё остался только язычок с зеленью окисла, похожей на мох. Весила книга килограмма полтора — для такой толщины немного, — но Мадлен, поднимая её, всегда на секунду напрягалась, будто в руках оказывалось нечто тяжелее собственного веса.

На верхней доске было выжжено клеймо: лилия, вписанная в круг, и круг этот шёл неровно, с наплывом в нижней части, потому что рука, державшая раскалённое железо, дрогнула. Пятно вокруг лилии потемнело и сморщилось. Мадлен много раз водила по нему пальцем и каждый раз думала одно и то же: тот, кто клеймил, торопился. Люди, которым нечего скрывать, не торопятся.

Она открыла книгу на середине и придвинула свечу.

Пламя вытянулось, задрожало, и на бумаге проступил рельеф: понтюзо, вертикальные полосы, через каждые двадцать восемь миллиметров, и тонкая сетка верже, которую видно только на свет. Бумага была тряпичная, плотная, с чуть шероховатой поверхностью, и в её толще, если наклонить лист к огню, угадывался водяной знак — виноградная гроздь с двумя листьями. Мадлен знала эту марку: Овернь, пятидесятые годы пятнадцатого века, мастерская, чьи грозди шли на монастырские скриптории от Клермона до Руана. По нижнему полю первых сорока листов тянулся волнистый бурый след — вода. На листах с восьмого по двадцатый, у самого корешка, чернела сажа.

Сажа говорила больше, чем вода. Воду книга повидала один раз и, судя по ровной линии, стояла в ней недолго. А сажу оставляет свеча, и оставляет её тот, кто читает ночами, наклоняясь близко, потому что буквы мелкие, а глаза устали. Кто-то читал эту книгу при свече. Читал долго, упорно, в те годы, когда электричества не было даже в Париже, а в аббатстве на скале о нём не слышали вовсе.

Чернил в книге было трое.

Основной текст шёл чернильно-ореховыми, теми самыми, что от времени буреют и становятся похожи на засохшую кровь; они въелись в бумагу так, что проступили на обороте зеркальными тенями букв. Инициалы были выведены киноварью, щедро, с точками и усиками, и киноварь сохранила цвет — красный, глухой, чуть кирпичный. А шесть листов в середине, вшитых в книгу позже, были исписаны чернилами третьего рода: жидкими, с фиолетовым отливом, какие делают из кампешевого дерева и продают в Париже с сороковых годов.

Вшиты они были грубо.

Мадлен подцепила ногтем нитку и поднесла к свету: суровая, слишком толстая для книжного шитья, завязана двумя узлами, и оба узла — поверх старого шва, а не вместо него. Тот, кто вставлял эти листы, не разбирая книгу. Он вскрыл её на середине, как вскрывают конверт, и вложил своё внутрь.

Бумага вставных листов была другая. Гладкая, без верже, с холодноватым голубоватым отблеском, и водяной знак в ней был не гроздь, а лилия в щите — марка, которая пошла в ход в конце прошлого столетия, когда тряпьё в бумажной массе начали мешать с древесной трухой и научились лощить лист до блеска. Шесть листов, отделённые от остальных трёхсот лет, лежали внутри книги, как чужая кость в старом теле.

И почерков было два.

Основная рука была мелкая, прямая, с длинными завитками на заставках и с той аккуратной, чуть жеманной округлостью, которую даёт женская рука, воспитанная в скриптории: монахиня, всю жизнь переписывавшая часословы, привыкает выводить букву так, будто её будут разглядывать через увеличительное стекло, — и её действительно разглядывают, только не люди. Сокращения в тексте были профессиональные, уверенные. Это была не грамотная женщина, а обученная.

На полях, однако, теснилась вторая рука: крупная, экономная, без завитков, с сильным нажимом на вертикалях, — человек, который считал, а не молился. Он ставил на полях короткие пометки, иногда просто крестики, иногда слова, и в одном месте, у самого нижнего края, приписал три строки так близко к обрезу, что при обрезке книги их едва не срезали.

А вставные листы были исписаны третьей рукой: торопливой, косой, с наклоном вправо и с петлями, которые цеплялись друг за друга. Эта рука злилась. Мадлен видела по нажиму: перо продавливало бумагу так, что на обороте оставались выпуклые бугорки, а в двух местах кончик пера прорвал лист, и чернила расплылись с той стороны кляксой. На обороте одного из вставных листов темнело пятно, круглое, с рваными краями, будто кто-то поставил на бумагу донышко чернильницы и не сразу заметил.

Почерк этот был ей смутно знаком. Не близко знаком, не так, как знаком собственный, а той дальней памятью, которая говорит: ты это уже видел, и, кажется, недавно.

На задней доске переплёта, под кожей, была вклеена пергаментная закладка, и на ней — печать. Белый воск, оттиск с лилией. Печать была не сорвана. Она была разрезана — ровно, одним движением ножа, поперёк, так что обе половины остались на месте, аккуратно разведённые в стороны.

Мадлен знала, как выглядит сорванная печать: воск крошится, оттиск мнётся, на пергаменте остаются бурые следы. Здесь было иначе. Кто-то взял нож, придержал закладку пальцем и вскрыл книгу так, как вскрывают казённый пакет, — без ярости, с уважением к содержанию. И, вскрыв, зачем-то оставил закладку внутри.

А между восемьдесят восьмым и восемьдесят девятым листами лежали цветы.

Две лилии. Одна сохранила желтизну, только выцвела до цвета старого воска; вторая почернела вся, до угольной черноты, и лепестки её склеились в тонкую пластинку, похожую на обгоревшую бумагу. Они лежали крест-накрест, и концы стеблей были обломаны одинаково, на одном и том же месте, будто их срезали одним движением и положили в книгу одновременно.

Рядом с цветами, прижатый к странице, лежал волос.

Длинный, тёмный, он оставил на бумаге тонкую линию, как оставляет вода в русле высохшей реки, и когда Мадлен тронула его кончиком пера, он не сдвинулся: он прирос к бумаге намертво, вклеился в неё за столетия, стал частью листа. Она смотрела на него и думала о том, о чём думать не следовало: у человека, читавшего эту книгу, были длинные тёмные волосы и привычка наклоняться низко, потому что он читал ночью и при свече, и однажды волос упал на страницу, и ему было недосуг его убрать.

На столе, слева от книги, лежала картонная коробка из-под перчаток, и в ней — карточки. Мадлен завела этот обычай три года назад, в первый месяц службы, когда поняла, что память у неё хорошая, но чужая: она запоминает то, что хочет, а не то, что важно. Карточки заставляли её быть честной. На каждой — номер, дата и одна фраза, без которой дальше идти нельзя.

Она вынула верхнюю и положила перед собой. Потом взяла стальное перо, обмакнула в чернильницу и стала писать — быстро, ровно, тем самым почерком, который отец называл «адвокатским» и за который когда-то бранил её, говоря, что женщине пристало писать красиво, а она пишет неопровержимо.

«Первое. Ин-кварти, двести четырнадцать листов. Переплёт — дуб, телячья кожа, две застёжки, левая сломана. Клеймо на верхней доске — лилия, оттиснуто неровно».

«Второе. Бумага — тряпичная, водяной знак виноградная гроздь, понтюзо двадцать восемь миллиметров. Овернь, около тысячи четырёхсот пятидесятого. Значит, книга не бретонская. Бумагу привезли».

«Третье. Три чернила. Основной текст — чернильно-ореховые, буреют. Инициалы — киноварь. Шесть вставных листов — кампешевые, фиолетовые, продаются в Париже с сороковых годов».

«Четвёртое. Две руки в основной части: текст — женская, скрипторий, обученная; поля — мужская, счётная. И третья рука на вставных листах — злая, торопливая».

«Пятое. Вставные листы — другая бумага, без верже, водяной знак лилия в щите. Конец прошлого века или начало нашего. Вшиты поперёк старого шва, двумя узлами. Книгу не разбирали: её вскрыли и вложили».

«Шестое. Печать на закладке разрезана, не сорвана. Вскрывали аккуратно, ножом, с уважением».

«Седьмое. Между восьмьюдесятью восьмым и восьмьюдесятым девятым — две лилии, одна обуглена. И волос».

Она отложила перо и посмотрела на написанное.

Семь карточек. Семь фактов, из которых пока не складывалось ничего, кроме одного — того, что уже нельзя было отрицать. Книга, которую монах принёс в Институт неделю назад, была не цельной вещью, а собранием чужих решений. Кто-то написал её. Кто-то другой считал

на полях. Кто-то третий вскрыл её триста лет спустя и вложил внутрь шесть листов собственного сочинения, написанных злыми чернилами на молодой бумаге. И кто-то четвёртый разрезал печать ножом — и оставил закладку на месте, чтобы никто не заметил.

Мадлен не верила в совпадения. Отец учил её: «Совпадение — это слово, которым лжецы прикрывают закономерность». А закономерность здесь была простая и неприятная: все эти решения кто-то принимал с определённой целью. И цель эта имела отношение к ней, потому что книга лежала не в архивном шкафу, где ей полагалось лежать, а на её столе.

Её принесли.

Она потянулась за чашкой, обнаружила, что чай кончился, и поставила чашку обратно с той аккуратностью, которая появляется у человека, когда он держит себя в руках из последних сил.

Монах, принёсший рукопись, был сухой, как пергамент, и глаза у него были такие, будто он видел слишком много и давно перестал этому удивляться. Он назвал книгу ключом. «Ключ к ночной чуме», — сказал он, и Мадлен тогда записала эти слова на карточке, потому что слова, сказанные человеком в дверях, обычно важнее слов, сказанных им за столом.

Она не спросила его имени. Вот что было хуже всего. Она не спросила имени, не спросила, откуда он пришёл и почему выбрал именно её, — она взяла книгу, как берут письмо, и только потом, через час, обнаружила, что в приёмной никого нет, а книга уже лежит на столе, раскрытая на середине.

Сажу на первых листах оставил не он. Сажу была старая.

Она взяла лупу.

Лупа была отцовская, в оправе из рогового серебра, с ручкой, отполированной до того ровного блеска, который появляется у вещи, пролежавшей сорок лет в одной и той же руке. Мадлен придвинула свечу, наклонила лист к огню и стала смотреть на поля.

Счётная рука оказалась не такой скучной, как выглядела на первый взгляд.

Она ставила не цифры. Она ставила палочки — короткие, ровные, по пять штук, с косой перечёркивающей чертой, как ставят счёт в трактире, когда пиво льётся быстрее, чем хозяин успевает запоминать. И палочки эти шли не подряд, а с промежутками: группа, потом чистое поле, потом снова группа. Мадлен перелистала книгу, нашла первую группу, отсчитала от неё страницы до второй и получила двадцать восемь.

Двадцать восемь. Потом ещё двадцать восемь. Потом ещё.

Она отложила лупу и посчитала на пальцах, шевеля губами, как девочка на уроке арифметики. Двести четырнадцать листов, отметка на каждом двадцать восьмом: двадцать восемь, пятьдесят шесть, восемьдесят четыре, сто двенадцать, сто сорок, сто шестьдесят восемь, сто девяносто шесть. Семь отметок. Семь полных оборотов и ещё восемнадцать листов сверху.

Двадцать восемь дней — это лунный месяц. Это знал любой монах, любой крестьянин, любая женщина, у которой в доме не было календаря, но было собственное тело. И человек, сидевший рядом с той, что писала, отмечал не страницы и не молитвы.

Он отмечал время.

Мадлен вернулась к первой отметке и посмотрела на чернила. Палочки были того же цвета, что и текст, — бурые, с тем же зелёным отливом по краю штриха. Не темнее, не светлее. Значит, чернильница была одна. Значит, тот, кто считал, сидел за тем же столом, что и та, которая писала, и обмакивал перо в ту же банку.

Двое за одним столом, семь месяцев, одна чернильница.

Она откинулась назад и почувствовала, как по спине прошёл холод, не имеющий отношения к температуре в комнате. В книгах такого не пишут. В книгах пишут: «неизвестный монах», «анонимный автор», «переписчик, имя которого не сохранилось». А в жизни бывает иначе: двое сидят за одним столом, один пишет, другой считает, и между ними — семь месяцев, одна свеча и одна чернильница.

Она снова наклонилась над книгой и на этот раз занялась лилиями.

Тонкий стебель, обломанный в одном месте, и второй излом — в том же самом месте, с той же волокнистой бахромой на конце. Мадлен повернула оба цветка к свету и поняла: это не два цветка. Это один стебель, раздвоенный у самого бутона, — две лилии на одной ветке, как бывает у лилий, когда луковица стара и даёт двойной побег.

Одна ветка. Две лилии. Одну положили в книгу, когда она была жёлтой, — и она выпвела до воска. Вторую — когда она уже почернела.

Мадлен поднесла чёрную лилию к самому пламени. Лепестки не вспыхнули, не закурились, не запахло гарью. Они были чёрными не от огня. Они были чёрными от того, что их держали в темноте, где нет света, который выбеливает краску, и где всё живое медленно отдаёт свой цвет камню.

Так чернеет всё, что лежит в склепе.

Она положила лилию обратно и закрыла книгу — бережно, как закрывают глаза покойнику, — а потом снова открыла, потому что заметила то, чего не заметила раньше.

Между четвёртым и пятым вставным листом торчал корешок.

Не лист — именно корешок: узкая полоска бумаги у самого сгиба, с неровным, рваным краем, будто кто-то взялся за лист и вырвал его с силой, а остаток подрезал ножом, чтобы не мешал. На корешке виднелась часть буквы — верхняя петля, — и рядом, у самого обреза, стояла счётная палочка с косой чертой.

Седьмая.

Мадлен посчитала вставные листы. Их было шесть. На седьмом стояла отметка.

— Значит, был седьмой, — сказала она вслух. — И его вырвали.

Она закрыла глаза и посидела так с минуту, потому что голова вдруг стала тяжёлой, а мысли — слишком быстрыми, и их надо было придержать, как придерживают лошадей на спуске.

Вот что у неё было. Книга, написанная женщиной в скриптории, — семь месяцев работы, одна чернильница, двое за столом. Две лилии с одной ветки, одна из них почернела в темноте. Шесть вставных листов, вшитых поверх старого шва, и седьмой, вырванный с мясом. Разрезанная печать. Волос, приросший к странице.

И запах.

Она поднесла переплёт к лицу и вдохнула. Кожа, дуб, пыль, воск — и под всем этим, на самом дне, ещё один запах, слабый, сырой, сладковатый, от которого у неё сразу заныли зубы.

Так пахло в фамильном склепе Монброн. Она была там один раз, в двенадцать лет, когда хоронили дальнего родственника, и отец держал её за руку, и она запомнила не покойника, не свечи и не латынь, а именно этот запах: камень, который слишком долго стоял без воздуха.

Книга пахла склепом.

Она достала ещё четыре карточки и написала — быстро, почти не глядя на бумагу.

«Восьмое. Счётная рука — палочки по пять, отметка на каждом двадцать восьмом листе. Семь отметок. Лунные месяцы. Считали время, а не деньги».

«Девятое. Чернила палочек и текста одного цвета и одного отлива. Одна чернильница. Писали и считали одновременно, за одним столом».

«Десятое. Вставных листов было семь. Седьмой вырван, на корешке осталась отметка и часть буквы».

«Одиннадцатое. Обе лилии — с одной ветки. Чёрная почернела не от огня, а от темноты».

Она положила перо и посмотрела на одиннадцать карточек, разложенных по столу в два ряда.

Одиннадцать фактов. Ни одного вывода. Это было то состояние, которое она любила больше всего и которого боялась, — когда материал уже собран, но ещё не заговорил, как зверь, который ходит вокруг и ещё не решил, нападать или уйти.

В дверь постучали — коротко, дважды. Так стучал только один человек в мире.

— Войдите, Огюстен, — сказала Мадлен, не поднимая головы. — И если вы пришли извиняться, не надо. Мне сейчас не до ваших обид.

Дверь скрипнула. В проёме показалась длинная худая фигура: пятьдесят лет, а выглядит на семьдесят, преждевременно поседел, очки держатся на носу на честном слове, воротник высокий и накрахмаленный до стеклянного хруста. Он напоминал цаплю, которая задумалась о смысле жизни и не одобряет того, что нашла.

От него пахло архивом: пылью, мышами и мятными лепёшками, которыми он спасался от сырости в хранилище.

— Я не извиняюсь, — заявил он. — Я пришёл за ключами от древнего крыла. У меня там свиток четырнадцатого века, я должен его инвентаризировать. Согласно регламенту, утверждённому господином директором ещё в восемьдесят девятом году...

— Огюстен.

— ...а вы, мадемуазель, не имеете права блокировать доступ к документам, которые...

— Огюстен.

— ...входят в компетенцию отдела рукописей, вверенного моему попечению, и...

— Огюстен. — Мадлен подняла голову и посмотрела на него в упор. — Сегодня в особняке Борегаров нашли мёртвого юношу. Обескровленного. С двумя ранками на шее.

Огюстен замолчал. Кадык дёрнулся. Он медленно закрыл рот, потом открыл, потом передумал и просто моргнул.

— Это... — начал он. — Это как в легендах?

— Как в легендах, — подтвердила Мадлен. — Как в тех самых легендах, ради которых, собственно, и существует наш Институт. Вы всё ещё хотите инвентаризировать свиток?

Огюстен посмотрел на неё, потом на дверь, потом снова на неё. Он явно боролся между священным долгом архивариуса и инстинктом самосохранения. Долг победил — но только наполовину.

— Я... постою здесь, — сказал он, оставаясь на пороге. — На всякий случай.

— На какой?

— На случай, если вам понадобится свидетель. Или помощь. — Он помолчал. — Или если вы решите писать отчёт. Мой почерк, знаете ли, лучше вашего.

Мадлен не выдержала и улыбнулась. Огюстен был единственным в Институте, кто не боялся её остроумия, потому что его собственное остроумие было начисто лишено чувства юмора.

— Что вы знаете о роде Борегаров? — спросила она, возвращаясь к манускрипту.

— Борегары? — Огюстен нахмурился, собирая в кулак свои архивные познания. — Бретонский род, довольно древний. В хрониках с четырнадцатого века. Замешаны в нескольких тёмных историях, как и все бретонцы той эпохи, у которых были деньги и время. В пятнадцатом веке было судебное дело о колдовстве — невеста одного из Борегаров, кажется. Дело замяли, а имя из документов вычистили. Вычистили так тщательно, что в двух местах пергамент проскоблен до дыр, а сверху написано другое имя, и почерк не тот. — Он помолчал. — А ещё странно: в нашем каталоге есть пометка. «Дело Борегаров. Материалы переданы в Институт тайн. 1826 год». Я всегда думал, что это ошибка каталогизатора.

Мадлен медленно подняла голову.

— Пометка есть в каталоге?

— Да. Видел вчера, когда листал опись. В разделе «Д» — «Дела, ожидающие разбора». — Огюстен замялся. — А что? Разве это важно?

Мадлен не ответила сразу.

Она смотрела на него и считала — не факты, а мелочи, потому что факты лгут реже, чем люди, но мелочи выдают людей быстрее. Левое стекло его очков было заляпано и протёрто наспех, круговым движением, а правое — чистое. Так бывает у человека, который долго смотрит в книгу одним глазом, наклонившись набок. На обшлаге его сюртука, у самой пуговицы, прилипли три крупинки красного сургуча. Сургуч в хранилище не хранят: сургучом заливают шнуры на делах, которые вскрывают.

А главное — опись.

Опись раздела «Д» Мадлен взяла себе три дня назад. Она лежала у неё на подоконнике, придавленная гирей, и Огюстен не мог листать её вчера, потому что для этого ему пришлось бы войти в этот кабинет и попросить, а он не просил. Он вообще не входил. Он стоял в коридоре и стучал — дважды, коротко, демонстративно, — ровно с тех пор, как три дня назад перестал с ней разговаривать.

Три дня. Книга легла на её стол два дня назад.

— Важно, — сказала она вслух.

И, не давая себе времени передумать, добавила:

— Огюстен, найдите это дело. Сейчас.

— Но вы же сами говорили, что я не должен покидать отдел рукописей...

— Огюстен.

— Молчу. Иду. Ищу. — Он развернулся и почти выбежал, унося своё цапелье достоинство и неисчерпаемое стремление быть полезным.

Мадлен проводила его взглядом — и, когда дверь закрылась, достала чистую карточку.

«Двенадцатое. Он говорит, что видел опись вчера. Опись у меня, взята три дня назад. Он не спрашивал. Значит, видел не опись, а само дело».

«Тринадцатое. Он просит ключи от древнего крыла. Замок там переменили в августе, ключ у него есть: распоряжение писала я, и подпись моя».

«Четырнадцатое. Три крупинки красного сургуча на обшлаге. Сургуч — на шнурах дел, которые вскрывают».

«Пятнадцатое. Он соврал дважды за две минуты, и оба раза — о том, что можно проверить. Люди врут о том, что проверить нельзя. О том, что можно, врут только в одном случае: когда очень нужно, чтобы проверили не это».

Она положила перо и прислушалась к себе.

Азарт поднимался изнутри, как вода в трюме: сначала по щиколотку, потом по колено. Это было знакомое чувство, ради которого она, собственно, и жила, — то самое, что заставляет охотника идти по следу, хотя след ведёт в чащу, а чаща — в темноту. Под азартом шевелилось другое, тёмное, чему она пока не давала имени, и она знала, что если даст — придётся с этим жить.

Пометка в каталоге. Материалы о Борегах, переданные в Институт шестьдесят пять лет назад. Кто-то до неё интересовался этой семьёй — и этот кто-то решил, что материалы должны лежать здесь, в доме, где хранят то, о чём не говорят вслух.

А теперь в этом доме лежит ещё и книга.

На столе тикали часы — чернильного цвета, с бронзовым всадником, замахнувшимся копьём на невидимого дракона. Часы любил отец. Говорил, что всадник — это его символ: маленький человек с копьём против огромного зла. Мадлен погладила прохладную бронзу, и к горлу подкатил знакомый ком, который она уже пять лет встречала так, как встречают старую собаку у двери: без удивления, с усталой нежностью.

— Я найду её, папа, — прошептала она. — Обещаю. Твою ночную даму. Твою тайну. Твою истину. И я закончу то, что ты не успел.

Часы пробили шесть. За окнами сгущались сумерки — синие, маслянистые, тягучие. В Париже зажигали фонари, и их жёлтые огни расплывались в сыром воздухе, как пятна на старом фотоснимке. Мадлен смотрела на них и чувствовала, как в груди поднимается странное беспокойство, будто что-то большое и тёмное надвигается на город и уже находится ближе, чем кажется.

В дверь снова постучали — торопливо, нетерпеливо, три коротких удара. Так не стучал Огюстен. Так стучал только нотариус Моро, который всегда спешил и всегда боялся, что его не успеют выслушать.

— Войдите.

Дверь распахнулась.

Моро стоял на пороге белый, как бумага, на которой писал. Глаза его — водянистые, блеклые, обычно бегающие — были широко раскрыты. Платок в руках изорван в клочья. Он тяжело дышал, и на лбу у него блестела испарина.

— Мадемуазель, — выдохнул он. — Слава богу, вы здесь.

— Моро? Что случилось? Вы же должны были быть в доме Борегаров с полицией.

— Я был там. Я... — он перевёл дыхание, — я видел тело. Сам. Своими глазами.

— И?

Моро сглотнул, шагнул в комнату и закрыл за собой дверь — так, как делают люди, которые боятся, что за ними идут по лестнице.

Мадлен смотрела на него и отмечала.

Ботинки. Третья неделя дождя, улицы стоят в воде по колено, а ботинки у него сухие. Не просто сухие — чистые, с целыми пряжками, без единой брызги на гетрах. Человек, который пробежал через весь Париж от особняка на улице Сен-Жермен до набережной, выглядел бы иначе: мокрый до колен, с грязью на подошвах, с теми самыми разводами на панталонах, которые оставляет вода из лужи, поднятая чужим колесом. От него пахло лавандовой водой, конским потом и — слабо, на самом дне, — трубочным табаком. Конский пот означает наёмный экипаж. Табак означает, что он ждал.

Он не бежал. Он ехал и, судя по запаху, довольно долго стоял где-то, где курят.

— Это не смерть от потери крови, мадемуазель, — сказал он. — Это не убийство человека человеком. Я видел следы зубов на шее. Два прокола, ровных, как по линейке. А на коже вокруг — пятна, как от ожога. Бледно-жёлтые, будто папиросу не потушили. — Он понизил голос до шёпота: — И я был не один. Врач тоже видел. Он сказал: «Моро, это то, о чём не говорят вслух. Это приходило в этот город и раньше. Каждые сто лет».

— Каждые сто лет? — Мадлен нахмурилась.

— Его дед тоже был врачом и тоже видел такое. И говорил то же самое: каждые сто лет, весной или осенью, в Париже умирают молодые люди. Обескровленные. И каждый раз — в семьях старой аристократии. Как будто смерть ходит по определённым адресам. По определённым родам.

Мурашки побежали по коже — не от страха, а от той быстрой, холодной радости, с которой она всегда ловила первую настоящую зацепку.

— Род Борегаров?

— Род Борегаров. — Моро кивнул. — И ещё три семьи: Лорио, де Сен-Совер и Монброн.

Тишина, повисшая в комнате, была тяжёлой, как свинцовое одеяло. Мадлен слышала, как скрипят половицы в коридоре, как тикают часы, как где-то на улице прогреготала пролётка. И в этой тишине она отчётливо поняла: Моро пришёл не просто сообщить новости. Он пришёл предупредить. Потому что в списке родов, по которым ходит смерть, её собственная семья была записана третьей.

Хотя нет.

Он назвал четыре рода. Борегары. Лорио. Сен-Совер. Монброн.

Борегары — первыми. Монброны — последними. А между ними — двое, о которых он не сказал ни слова больше, ни единой подробности, ни имени, ни улицы. Человек, который пришёл предупредить, рассказывает о том, кто уже погиб. Человек, который пришёл чего-то добиться, рассказывает о том, кто ещё жив.

— Монброн, — медленно произнесла она. — Мой род.

— Да, мадемуазель. — Моро опустил глаза. — Ваш.

— Скажите, Моро, — Мадлен положила ладонь на книгу, и кожа переплёта отозвалась теплом, — а Лорио и Сен-Совер? Они ещё живы?

Нотариус поднял на неё глаза, и в этих глазах на секунду мелькнуло что-то очень похожее на уважение — или на испуг.

— Живы, — сказал он. — Пока.

— Пока.

— Да, мадемуазель. Пока.

Она кивнула, будто услышала именно то, что ожидала, и это было правдой: она услышала именно то, что ожидала. Проклятие, возвращающееся раз в сто лет. Четыре рода, из которых один уже потерял сына. И манускрипт, который нашёлся ровно в тот момент, когда оно вернулось.

— Моро, — сказала она, и голос звучал ровно, хотя сердце колотилось, как кузнечный молот. — Сегодня же ночью посмотрите архивы Монбронов. Все, какие есть. Всё, что связано с проклятиями, вампирами, привидениями. Всё, что отец называл «ночной работой». Можете?

— Могу, мадемуазель. Но... зачем?

— Потому что я хочу знать, чем проклятие Монбронов отличается от проклятия Борегаров. — Мадлен положила руку на манускрипт. — И потому что, если смерть ходит по нашему роду раз в сто лет, я хочу встретить её подготовленной. А не так, как сегодняшний юноша — в постели и с пустым бокалом вместо крови.

Моро посмотрел на неё с неожиданным уважением. Он знал её с рождения, видел ребёнком, девушкой, взрослой женщиной и всегда считал — ну, может, чуть более упрямой, чем следует барышне. Но сейчас, в этой комнате, при свете свечей, в споре с самой смертью, она выглядела не упрямой. Она выглядела сильной.

— Я сделаю это, — сказал он. — Обещаю.

— И ещё. — Мадлен вернулась к столу. — Расскажите всё про мальчика. Подробно. В таких делах дьявол прячется в мелочах, а мы, кажется, имеем дело с самим дьяволом.

Моро сглотнул. Кадык дёрнулся, как маятник.

— Сегодня утром, около семи, горничная обнаружила тело господина Амадея Борегара. Младшего сына барона. — Он вытер лоб; платок был влажным насквозь. — Комната заперта изнутри. Ключ лежал на полу возле кровати. Окно на третьем этаже закрыто. Следов взлома нет. Никаких. Я сам проверил: я старый человек, но глаза у меня ещё острые.

— Причина смерти?

— Потеря крови. — Моро сглотнул снова, и звук был похож на бульканье воды в засорившейся раковине. — Мадемуазель, я видел своими глазами. Тело было белым. Совершенно белым. Как мрамор. Как фарфор. Ни капли в венах — а ведь в таком теле должно быть литров пять, не меньше. Всё ушло. Постельное бельё пропитано насквозь. Горничная, которая его нашла, до сих пор в истерике: ей дали лауданума, но она всё равно кричит по ночам.

— А раны?

Моро помолчал. В этом молчании было больше красноречия, чем в любом отчёте. Потом заговорил — тихо, почти шёпотом:

— Две ранки на шее, чуть выше ключицы. Аккуратные, ровные. Словно сделаны двумя иглами. Или... — он запнулся, перекрестился, — или клыками.

Мадлен подняла левую бровь. Она умела поднимать только левую — этому её научил отец, говоривший, что женщина с поднятой бровью выглядит загадочно, а с двумя — просто удивлённо.

— Клыками. Мсье Моро, вы серьёзно?

— Я знаю, как это звучит. — Нотариус развёл руками. — Я сам себе не поверил, когда увидел. Сказал себе: «Моро, ты старый дурак, тебе показалось». Но я не старый дурак, мадемуазель: мне шестьдесят восемь, и я видел много странных смертей. Такой — никогда. И я не одинок в подозрениях. В доме говорят, что это проклятие. Что старый барон перед смертью твердил о какой-то книге. И о том, что «она вернётся».

— Она?

— Да. Именно так. «Она».

Мадлен взяла манускрипт и провела пальцем по корешку. Кожа, в которую была переплетена книга, казалась тёплой на ощупь. Живой. Она чувствовала это тепло — странное, непривычное, будто книга дышала.

— Мсье Моро, а где сейчас виконт Жак Борегар? Старший сын? Тот, что, по слухам, ищет женщину из сна?

Моро побледнел ещё сильнее, если это было возможно. С лица схлынула последняя краска, и оно стало похоже на восковую маску.

— Его не видели три дня. После похорон отца исчез. Говорят, уехал в Бретань. Но я слышал другой слух... — Он замолчал, оглянулся на дверь, будто опасаясь, что его подслушает сама смерть.

— Какой?

— Говорят, виконт одержим. Ищет женщину, которую видел во сне. Женщину с красными губами и ночью в глазах. Тратит состояние на старые рукописи и рассказы бродяг. Уверен, что она реальна. И что она ждёт его. — Моро помолчал. — Но я слышал и другое. Что он не просто ищет её. Что он хочет, чтобы она обратила его.

— Обратила?

— В то же, что и она. — Моро перекрестился снова. — В вампира.

Мадлен медленно встала. Внутри что-то щёлкнуло — так щёлкает замок, когда ключ наконец входит в скважину.

Бретань. Аббатство Мон-Сен-Мишель. Женщина с алыми губами. И книга, оказавшаяся на её столе за два дня до убийства.

— Моро, — сказала она, резко оборачиваясь. — Готовьте экипаж. Я еду в Бретань.

— Но мадемуазель! Уже почти ночь! Дороги опасны, а в Бретани беспокойно... Крестьяне говорят о волках, о призраках, о...

— О женщине с красными губами? — перебила Мадлен с лёгкой усмешкой. — Я знаю, Моро. Именно поэтому и еду. Я хочу познакомиться с ней лично.

Моро замолчал и перекрестился в третий раз. Он вообще много крестился в последнее время — видимо, возраст брал своё.

— И ещё, Моро. — Мадлен обошла стол и остановилась перед ним так близко, что ему пришлось поднять подбородок. — Вы сказали: бельё пропитано насквозь. А тюфяк?

— Что?

— Тюфяк. Пять литров крови — это не лужа в простыне. Это простыня, тюфяк, наматрасник, доски кровати и, если кровать стояла у стены, штукатурка под плинтусом. Вы сказали про бельё. Вы ничего не сказали про тюфяк.

Моро открыл рот. Потом закрыл.

— Я... не обратил внимания, — сказал он наконец. — Там было столько...

— Понимаю. — Мадлен вернулась к столу и села. — Ещё один вопрос. Кто вы, Моро, для Борегаров? Вы ведь и их нотариус тоже.

— И их тоже, — согласился он тихо. — Я вёл дела барона двадцать лет.

— И мои.

— И ваши, мадемуазель. Вашего отца. И ваши.

— Значит, вы единственный человек в Париже, который держит в руках обе семьи. Ту, где убили сына, и ту, где ещё не убили никого. — Она улыбнулась, и улыбка вышла недоброй. — Вам не кажется, что это слишком много для одного нотариуса?

Моро смотрел на неё, и по его лицу было видно: он всё понял. Понял, что его раскусили не в чём-то определённом, а в главном — в том, что он пришёл сюда не только предупредить.

— Я старый человек, — сказал он наконец. — У меня нет ни жены, ни детей. Только бумаги. И я не хочу, чтобы бумаги пережили меня в таком виде, в каком они лежат сейчас.

— В каком — таком?

— В том, в каком их оставили после смерти вашего отца, — ответил он и, не прощаясь, вышел.

Дверь закрылась мягко, без стука.

Мадлен сидела очень тихо.

Пять лет назад её отец умер в своём кабинете, за столом, с раскрытой книгой. Врач сказал: сердце. Друзья сказали: сердце. Она сама сказала себе: сердце, потому что так было проще, потому что пятнадцать лет он носил в себе эту работу, как носят камень за пазухой, и однажды камень оказался тяжелее человека.

«Бумаги не в таком виде, в каком их оставили после смерти вашего отца».

Она достала чистую карточку — и впервые за три года не сразу нашла, что на ней написать.

— Значит, и папа, — сказала она в пустоту. — Значит, и он тоже.

Она взяла чистый лист и придвинула чернильницу.

Думать на бумаге её научил отец, и это был единственный урок, который она усвоила без сопротивления. «В голове, — говорил он, — ты всегда права. На бумаге — не всегда. Бумага не льстит».

Она написала сверху: «Если каждые сто лет».

Девяносто первый. Значит, семьсот девяносто первый — нет, слишком далеко, тогда и Парижа-то не было в нынешнем виде. Девятьсот девяносто первый. Тысяча девяносто первый. Тысяча сто девяносто первый. Тысяча двести девяносто первый. Тысяча триста девяносто первый. Тысяча четыреста девяносто первый. Тысяча пятьсот девяносто первый. Тысяча шестьсот девяносто первый. Тысяча семьсот девяносто первый. Тысяча восемьсот девяносто первый.

Она поставила точку и посмотрела на столбик.

Получалось, что смерть ходит по этим четырём домам раз в сто лет, и каждый раз — осенью или весной, и каждый раз — по молодым. И каждый раз — в Париже, хотя все четыре рода бретонские, и в Бретани у них земли, замки, склепы и куда больше тёмных мест, чем в любом парижском особняке.

Почему в Париже?

Ответ был простой и некрасивый: потому что в Париже их видят. В Бретани, в деревне из сорока дворов, смерть молодого человека от «лихорадки» не попадает ни в газеты, ни в отчёты префектуры, ни в чьи-либо записи, кроме церковной книги, которую ведёт священник, а священник в таких делах умеет быть тактичным. А в Париже — газеты, полиция, карточки Бертильона, свидетели, кучера, горничные. В Париже смерть становится событием.

Смерть, которая хочет остаться легендой, выбирает не тишину. Она выбирает сцену.

Она перечеркнула столбик и написала второе: «Кто считает века?»

Потому что легенда, повторяющаяся по расписанию, нуждается в бухгалтере. Столетний цикл — это не природное явление. Природные явления не бывают такими аккуратными: у них

сбивается счёт, они запаздывают на десять лет, они случаются дважды за век и ни разу за два. А здесь — сто лет, и ещё сто, и ещё, и всякий раз кто-то в нужный год знает, что пора.

Значит, есть человек, который ведёт счёт. Значит, есть место, где этот счёт записан. И значит, это место — не склеп и не часовня.

Это архив.

Она отложила перо и посмотрела в огонь.

Вот почему книга пришла в Институт тайн. Не потому, что здесь её могли прочесть, а потому, что здесь её могли найти. Институт — единственное место в Париже, где хранят то, что не должно существовать, и где об этом составлены описи. Тот, кто вёл счёт векам, знал, куда класть улику, чтобы она не пропала и чтобы её рано или поздно кто-нибудь взял в руки.

А взяла её она.

Она взяла третий лист и написала поперёк, крупно, как пишут на полях приговора:

«Меня выбрали. Не нашли — выбрали».

Затем перечитала написанное, вздохнула и добавила внизу, мелко, честно, как добавляют то, что не хочется признавать:

«Или я просто очень хотела, чтобы меня выбрали».

За окном совсем стемнело. Дождь перестал, и от этого стало тише — так тихо, что она слышала, как в камине оседает уголь, как дышит дом, как где-то в глубине, в старом крыле, где стояли шкафы с делами, которых не должно существовать, что-то мерно постукивает, будто падает капля в наполненный таз.

Мадлен подошла к окну. За мутным стеклом плыл сизый туман, в котором фонари казались жёлтыми больными глазами какого-то гигантского чудовища. Где-то там, за туманом, за ночными дорогами, за лесами и полями, её ждала разгадка.

И, возможно, смерть.

Но Мадлен де Монброн никогда не боялась смерти. Она боялась только одного: остаться в неведении. Не знать. Не понимать. Сидеть сложа руки и гадать, что же произошло. Это было хуже любой боли.

В стекле отражалась женщина лет двадцати шести, в тёмном платье, с забранными волосами, из которых уже выбилась прядь, и с руками, перепачканными чернилами. Она посмотрела на своё отражение и не отвела глаз: вот она, женщина, которая всю жизнь искала истину и нашла её в чужом переплёте.

Дальше только ночь.

До отъезда оставался час, и она потратила его так, как тратила всё, что ей давали: с толком и без жалости к себе.

Читать она умела. Это было единственное, в чём она не сомневалась.

Древнее наречие на этих листах было смесью латыни, старофранцузского и ещё какого-то языка, которого она не могла опознать, хотя знала семь мёртвых и три живых. Этот третий интриговал её больше всего: он не подчинялся известным грамматическим правилам, слова были похожи на латынь, но с такими искажениями, что Мадлен подозревала шифр. Монахи, переписывавшие такие тексты, часто шифровали самое опасное — не потому, что боялись чужих глаз, а потому, что боялись своих.

Она переводила этот отрывок четвёртый час, и голова гудела, как телеграфный столб в ветреную погоду.

«...Он не был порождением тьмы в привычном смысле, ибо даже в самом низком падении его души теплился отсвет величайшей любви, какой только способны смертные. Любовь его была проклята, ибо он полюбил ту, что могла подарить ему лишь один день, а затем — вечность сожаления. Именно в тот миг, когда его пальцы сжали её алое сердце, он стал тем, кого мы зовём Началом Тьмы. Он не искал власти, он искал забвения в объятиях тысячи женщин, но

каждая возвращала его к одной-единственной. Его имя стёрто из книг, его лицо — из памяти живых, но жажда осталась. Жажда, которая однажды заставит его вернуться...»

Мадлен откинулась в кресле. Оно скрипнуло — старое, ещё екатерининских времён, с обивкой, вытертой до блеска. Она любила это кресло: оно помнило разговоры с отцом, ночи за книгами. Оно, чёрт возьми, заслужило пенсию. Как и она.

«Сжали её алое сердце». Она перечитала это место трижды. Алое сердце — не метафора для влюблённого. Метафора для влюблённого — это «моё сердце», «сердце моё», что угодно, только не цвет. Цвет означает предмет. Или орган, который вынули из груди и держали в руке.

Она записала на карточке: «Алое сердце — предмет? Проверить по другим спискам. Если это чаша — искать чашу».

Манускрипт нашли в тайнике под половицей в старом крыле аббатства Мон-Сен-Мишель, в части, замурованной ещё во времена Столетней войны. Монах, передавший его в Институт неделю назад, выглядел так, будто не спал лет сто: сухой, с глазами, которые видели слишком много. «Ключ», — назвал он рукопись. Ключ к ночной чуме.

Мадлен тогда не спросила, от какой двери этот ключ.

Она вернулась к началу отрывка и сделала то, что делала всегда, когда текст сопротивлялся: перестала его понимать и начала его считать.

Первое, что выяснилось: в незнакомом языке было всего четырнадцать букв. Не двадцать, не тридцать — четырнадцать, и это означало, что перед ней не язык, а азбука, приспособленная к языку. Второе: одна и та же лигатура, похожая на латинское «АР», встречалась в тексте сто восемнадцать раз — чаще, чем любая другая группа знаков. Третье: слово, которое должно было означать «кровь», стояло в тексте двадцать два раза, и писалось оно «СЕНГВИС» там, где латынь требовала «САНГВИС».

Она подчеркнула это место и посмотрела на него в лупу.

«СЕНГВИС». «САНГВИС». Разница была ровно в одной букве, и буква эта была гласной — «е» вместо «а».

Мадлен отложила лупу и почувствовала, как в затылке начинает теплеть, — то самое тепло, с которым приходит решение, ещё не оформившееся в слова. Она перелистала несколько страниц и выписала на отдельный лист все слова, в которых узнавала латинские корни.

«ПУРТА» — там, где должно было стоять «ПОРТА», дверь. «МУРС» — там, где должно было стоять «МОРС», смерть.

Она посмотрела на столбик и увидела то, что искала: «а» всюду стояло там, где полагалось «е», «е» — там, где полагалось «а», «у» — там, где полагалось «о», «о» — там, где полагалось «у».

Не колесо. Качели. Две пары гласных, поменявшихся местами, и больше ничего: «а» с «е», «о» с «у». Такую замену придумывает человек, которому лень учить настоящий шифр, но который очень не хочет, чтобы его понял первый же грамотный монах.

Она проверила обратным ходом: «СЕНГВИС» дало «САНГВИС», «ПУРТА» — «ПОРТА», «МУРС» — «МОРС».

Работало.

Мадлен улыбнулась, впервые за вечер по-настоящему.

— Голубушка, — сказала она книге, — да ты просто ленивая. Тебе было лень придумать настоящий шифр.

Она перевела ещё несколько строк, уже быстро, почти без запинки, и в трёх местах перевод получался связным, а в четвёртом — нет. Слово, которое должно было стоять в четвёртом месте, не подчинялось колесу. Оно было вписано позже, другим нажимом, и чернила в нём были чуть темнее.

Она наклонилась ниже.

Под лупой стало видно то, что не видно простым глазом: под этим словом бумага была не гладкой. Она была выскоблена — бережно, кончиком ножа, так, как скоблят пергамент, чтобы стереть ошибку и написать сверху. Старое слово почти исчезло, но у самого края скобления, там, где нож не достал, остались две буквы, и буквы эти были «НО».

А сверху, по выскобленному, было написано «ДЕНЬ».

Мадлен отодвинулась.

«Ту, что могла подарить ему лишь один день».

Так стояло в тексте, который она читала четвёртый час. Так она и перевела: один день. И не задумалась, потому что это красиво, потому что это правильно, потому что так пишут в книгах.

А написано было — «ночь».

Она провела пальцем по выскобленному месту и почувствовала подушечкой едва заметную впадину, как шрам под тканью.

Кто-то взял нож, стёр одно слово и написал вместо него другое. Не для того, чтобы спрятать. Спрятать — это вычеркнуть, залить, вырвать лист. А здесь слово оставили на месте и заменили так, чтобы смысл остался складным, но повернулся на пол-оборота.

День вместо ночи.

Человек, который это делал, хотел, чтобы читатель поверил: та, кого любило Начало Тьмы, была смертной. Дневной. Такой же, как все.

Такой же, как она.

Она перечитала страницу и остановилась на другом отрывке — том, что был переписан явно позже, другой рукой, торопливой и злой:

«...Она была прекрасна той красотой, которая не принадлежит этому миру. Красотой, от которой кровь стынет в жилах, а сердце начинает биться быстрее, потому что тело знает: перед ним не человек. Её волосы были цвета воронова крыла, глаза — как две бездны, в которых тонули звёзды, а губы — алыми, словно она только что пила кровь. И, возможно, так оно и было.

Она явилась ему во сне, когда он был ещё мальчиком, и поцеловала его в губы. С тех пор он не знал покоя. Он искал её по всему миру и находил лишь её следы — тела тех, кого она посетила до него. И каждый раз, находя очередное тело, понимал: она приближается. Она идёт к нему. И однажды придёт.

Тогда он будет готов.

Тогда он встретит её с открытым сердцем и открытыми объятиями.

И станет тем же, что и она».

Мадлен захлопнула книгу.

Пальцы дрожали — то ли от холода, то ли от волнения.

Она сидела неподвижно, глядя на свечу, и в голове у неё, как в хорошем механизме, проворачивались шестерни. Этот отрывок был вставным. Он лежал на тех самых шести листах — на бумаге без верже, с лилией в щите, исписанных злыми фиолетовыми чернилами. Триста лет между текстом и вставкой. И вставка говорила не о Начале Тьмы, а о женщине, которая являлась мальчику во сне.

В аббатстве, куда её влекло с той силой, которой не принято доверять, жила, по слухам, женщина, которая не стареет.

А в Париже, в особняке на улице Сен-Жермен, лежал мёртвый юноша, и у его старшего брата была репутация человека, который ищет женщину из сна и хочет, чтобы она обратила его.

Кто-то вставил в древнюю книгу шесть листов, в которых было описано именно то, что должно было случиться. Вставил — когда? Бумага была молодая. Чернила — парижские. Почерк — злой, торопливый, с петлями.

Мадлен открыла коробку и достала чистую карточку.

«Шестнадцатое. Вставка описывает то, что ещё не случилось, или то, что случилось потом. Если бумага и чернила парижские, вставку сделали здесь. Кто-то в Париже знал, что должно произойти, и записал это заранее — или переписал после, чтобы это выглядело предсказанием».

Она поставила точку и подумала: вот и первая трещина.

Пророчество, написанное на бумаге, которой в ту пору, когда пророчествовали, ещё не изобрели, — это не пророчество. Это инструкция, поданная под видом пророчества. Кому-то нужно было, чтобы читатель этой книги поверил: так было предсказано. А значит — так и должно быть.

Она взяла лист бумаги и написала три вопроса, которые не успела задать вслух.

«Первый: кто перевязал ленту на деле Борегаров и в какую сторону смотрит узел. Второй: чьей рукой сделана пометка 1826 года в каталоге — сверить с почерком на вставных листах. Третий: спросить у привратника, кто входил в дом вечером четырнадцатого и утром пятнадцатого».

Она сложила лист вчетверо, надписала «Огюстену Леклерку. Вскрыть при мне» и положила на середину стола, придавив гирей. Если он вернётся с делом и не найдёт её, он прочтёт. Если он вернётся с делом и найдёт её здесь — значит, дело он так и не искал.

Экипаж отбыл через час.

Мадлен сидела на жёстком сиденье, застеленном овечьей шкурой, и смотрела, как за окном проплывают силуэты Парижа — Нотр-Дам, Лувр, Тюильри. Город, который она любила, город, который знал её с детства, оставался позади, и вместе с ним оставалась та простая уверенность, что утром будет кофе, газета и чьё-то чужое дело, которое надо разобрать до полудня.

Впереди была неизвестность.

Она сжимала манускрипт, чувствуя его прохладу и тяжесть. Книга весила полтора килограмма — для книги нормально, — но Мадлен казалось, что она держит не книгу, а кусок времени: спёкшийся, застывший, который вот-вот треснет и выпустит наружу то, что было заперто внутри.

На коленях лежал саквояж с самым необходимым: смена белья, блокнот, карандаши, несколько флаконов с жидкостью, которую отец называл «святой водой, только лучше». На самом деле это была смесь серебряной пыли, освящённого масла и ещё каких-то ингредиентов, рецепт которых он унёс с собой в могилу. Мадлен проверила флаконы — все целы, жидкость не вытекла, пробки сидят плотно, воск на горлышках не тронут. Если то, о чём говорил Моро, правда, эта «святая вода» могла пригодиться.

Ещё в саквояже лежал револьвер, завёрнутый в шерстяной чулок, и к нему — коробка патронов, шесть штук, из которых три были отлиты из серебра, а три — из свинца. Отец говорил: серебро для тех, кто уже мёртв, свинец для тех, кто ещё нет, и никогда не путай, потому что ошибка стоит дороже, чем патрон.

Она проверила и это. Потом закрыла саквояж, положила на него ладони и позволила себе на минуту перестать быть собранной.

— Мадемуазель, — раздался голос кучера сквозь стук колёс. — Дорога дальняя. Может, остановимся на ночлег в Шартре? Там есть приличная гостиница. Хозяин — мой свояк, даст скидку.

— Нет, Жан. Едем прямо. Чем быстрее доберёмся до Бретани, тем лучше. Скидка мне не нужна, мне нужна скорость.

— Как скажете, мадемуазель. — В голосе слышалось сомнение, но спорить он не посмел. Жан работал на их семью двадцать лет и знал: если мадемуазель что-то решила, переубедить её может только сам Господь Бог. Да и то вряд ли.

Мадлен откинулась на спинку и закрыла глаза.

Экипаж качало. Колёса отсчитывали мостовую, потом булыжник, потом грунт; застава осталась позади, и город кончился сразу, как кончается комната, когда задувают свечу. За окном пошли поля, мокрые, чёрные, с рядами облетевших вязов, и в этом однообразии было что-то успокаивающее — как чужие счёты, которые сводят без тебя.

Она вспомнила утро, когда отец впервые привёл её в библиотеку Института.

Ей было шестнадцать. Она стояла посреди огромного зала, заставленного стеллажами до потолка, и чувствовала себя крошечной, как муравей в соборе: книги уходили вверх ярусами, к ним вели чугунные лестницы на колёсиках, и пыль в столбах света висела так густо, что казалась тканью. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь витражи, падали на корешки, и те светились золотом, багрянцем, лазурью. Пахло кожей, воском и той сладковатой сыростью, которая заводится в бумаге, если её не трогать лет двадцать.

Это было самое красивое, что она видела в жизни.

— Здесь, — сказал отец, положив руку ей на плечо, — ты узнаешь правду об этом мире. Не ту, что рассказывают в школах. Не ту, что пишут в газетах. А ту, что прячут. Потому что настоящая правда никогда не лежит на поверхности. Она прячется. Как мышь. Как тайна. Как женщина, которая не хочет, чтобы её нашли.

— Какую правду, папа?

— Правду о том, что ночь не пуста. Что во тьме есть те, кто старше нас. Сильнее. Опаснее. И что наш долг — защищать живых от тех, кто уже не жив. Но также и понимать: не все мёртвые хотят нам зла. Некоторые просто хотят, чтобы их оставили в покое.

Тогда она подумала, что отец шутит. Или сошёл с ума. Она была в том возрасте, когда взрослые кажутся либо смешными, либо безумными, и третьего не дано. Но когда он открыл первую книгу и показал рисунки — странные, пугающие, красивые, — она замолчала и не сказала ничего умного до самого вечера.

На одном рисунке была женщина, стоявшая у воды. Художник изобразил её со спины, и это было милосердно, потому что подпись внизу гласила: «Не поворачивай её к себе лицом. Она посмотрит в ответ».

С тех пор она прочитала сотни таких книг. Научилась различать правду и вымысел по тому, как автор обращается с деталями: лжец всегда точен в общем и небрежен в частностях, а человек, который видел сам, наоборот — путается в именах и не путается в запахах. Научилась видеть то, что скрыто. И научилась не бояться — вернее, научилась делать вид, и за двенадцать лет этот навык так сросся с ней, что отличить его от настоящей храбрости стало невозможно. Может быть, в этом и состояла отцовская школа.

Но сейчас, в трясущемся экипаже, чувствуя, как манускрипт греет колени — не просто тепло, а жар, почти живой, — она впервые за долгое время почувствовала страх.

Настоящий, древний страх, который живёт в костях с тех пор, как первые люди поняли: ночь — это не просто отсутствие света. Ночь — время, когда просыпаются те, кто ждал. И они голодны.

Мысль была чужая. Не её.

Мадлен открыла глаза и посмотрела на книгу. Книга лежала спокойно, как лежат вещи, которым всё равно.

— Я тебя прочту, — сказала она тихо. — Всю. До последнего знака. Даже если ты этого не хочешь.

За окном стемнело окончательно, и в чёрном стекле отразилось её лицо — бледное, чужое, с слишком внимательными глазами. Она смотрела на себя и думала о том, что человек, который всю жизнь ищет истину, рано или поздно встречает её в таком виде, в каком она приходит, — не в виде ответа, а в виде вопроса, заданного ей лично.

Ехали всю ночь.

Мадлен не спала. Она пробовала — откидывалась на спинку, закрывала глаза, считала толчки, — но сон не шёл, и вместо него приходили мысли, одна за другой, ровные и злые, как зубья гребня. К третьему часу она перестала бороться, достала блокнот и стала писать при качающемся фонаре, выводя буквы так, чтобы их можно было разобрать потом.

«Моро. Сухие ботинки. Не бежал. Зачем сказал, что бежал?»

«Моро. Не упомянул тюфяк. Не видел комнаты или видел, но не хочет говорить, что видел».

«Моро. Нотариус обеих семей. Ему выгодно, чтобы я уехала из Парижа. Или чтобы я приехала сюда».

«Огюстен. Опись. Ключи. Сургуч. Три дня».

«Книга. Вставка. Кто-то в Париже знал, что должно случиться, и записал это заранее».

Она посмотрела на последнюю строчку и подчеркнула её дважды.

Потом добавила ещё одну, короткую, и сама не поняла, зачем:

«Отец. Сердце. Проверить, кто был в кабинете до меня».

И задержалась на слове «врач».

Моро передал его слова дословно: «это то, о чём не говорят вслух; это приходило в этот город и раньше; каждые сто лет». И тут же прибавил, что дед врача говорил то же самое.

Мадлен знала, как говорят врачи. Врач, у которого умер пациент, говорит о причине: об артерии, о лёгких, о жаре, о том, что он сделал и чего не успел сделать. Он говорит быстро, сбивчиво и всегда чуть виновато. А фраза «это то, о чём не говорят вслух» — это не диагноз. Это формула. Формулы не рождаются в голове у человека, который впервые увидел тело; формулы приходят готовыми, как молитва, и произносят их те, кому нужно, чтобы слушатель поверил не в факт, а в рамку вокруг факта.

И ещё одно, мелкое, но важное: Моро сказал «его дед тоже был врачом». Не отец. Дед.

Два колена — это не традиция, это разрыв. Если бы знание передавалось от отца к сыну, как передают ремесло, он сказал бы «отец». Он сказал «дед», потому что отца в этой истории нет: тот либо умер рано, либо не захотел, либо сделал что-то, о чём в семье не говорят. И тогда выходило, что мальчик получил науку не от того, кто был рядом, а от того, кто был далеко, — то есть получил не опыт, а предание.

А предание, которое повторяют в нужный год, — это уже не медицина.

Она записала и это, коротко, чтобы не забыть:

«Врач. Говорит формулой. Ссылается на деда, не на отца. Проверить фамилию и адрес: кто лечил Борегаров до него».

Потом откинулась на спинку и позволила экипажу качать себя, как качают ребёнка, которого уже некому успокоить словами.

Под утро, когда небо на востоке начало светлеть, а туман над полями редеть, экипаж въехал в маленькую деревушку на границе Бретани. Дома здесь были низкие, приземистые, сложенные из серого камня, с крышами из тёмного сланца, и все они стояли как-то боком к дороге, будто их поставили наспех и собирались передвинуть. Над единственной улицей висел запах мокрой шерсти, рыбьей чешуи и дыма.

Мадлен велела остановиться у таверны, носившей гордое название «У старого кормчего». Вывеска — ржавая, с облупившейся краской — скрипела на ветру и изображала, судя по всему, именно кормчего, хотя от изображения остались половина бороды и один глаз. Глаз был нарисован с выражением крайнего недоверия, и Мадлен подумала, что художник, сам того не желая, передал в нём характер всей деревни.

Внутри было тепло и кисло.

Пахло рыбным супом, топлёным салом, сидром и мокрой одеждой, которую сушат слишком близко к огню. Потолок держался на трёх балках, и балки были такие низкие, что Мадлен, войдя, машинально наклонила голову, хотя ей было до них далеко. За столами сидели человек

восемь — рыбаки в промазанных дёгтем куртках, двое торговцев, несколько мрачных типов в тёмных плащах, — и все они замолчали одновременно, как замолкает комната, когда в неё входит чужой.

Хозяин, здоровенный детина с рыжей бородой и руками, похожими на две лопаты, встретил её настороженно. В глазах читалось: «Чужачка. Из Парижа. Чего ей надо?» Он стоял за стойкой, протирая кружку грязной тряпкой, и смотрел исподлобья. Кружка была уже чистой. Он протирал её всё равно — потому что руки у человека, который боится, всегда чем-нибудь заняты.

— Мне нужна комната, — сказала Мадлен, бросив на стойку монету. — И информация.

— Информация, мадемуазель, — хозяин ловко смахнул монету, и та исчезла в его кармане быстрее, чем Мадлен успела моргнуть, — штука дорогая. Особенно в наших краях.

— Я спрошу, вы ответите. Если ответ понравится, получите ещё одну такую.

Хозяин ослабилсЯ, продемонстрировав два ряда крепких жёлтых зубов. Некоторые из них, кажется, были золотыми. Или это просто накипь от вина.

— Спрашивайте.

— Замок Борегаров. Далеко отсюда?

Улыбка сползла с его лица мгновенно, как вода с только что вымытого стекла. Он перекрестился — быстро, испуганно — и оглянулся на дверь, будто ожидал, что за ней кто-то стоит. Кто-то, кто слышал запретное имя.

— Часа два езды. Но туда лучше не ездить.

— Почему?

— Потому что там смерть. — Хозяин понизил голос до шёпота, и голос стал похож на шуршание сухих листьев. — Старый барон помер месяц назад. Младший сын — третьего дня. А старший... говорят, он продал душу дьяволу. Говорят, он теперь не человек. Говорят, по ночам он выходит на охоту.

Мадлен отметила: он перекрестился на слове «смерть». Не на «дьявол», не на «душу». На «смерть».

— Виконт Жак?

— Он самый. — Хозяин перекрестился снова. — Видели его местные: бледный, глаза горят, бормочет что-то про свою «ночную даму». Совсем рехнулся парень. Хороший был человек, добрый — пока это не началось. А теперь пропащая душа. Говорят, он ищет её в старом аббатстве на скале.

— На Мон-Сен-Мишель?

— Туда. Только туда никто не ходит: место проклятое, ещё с войны. Говорят, там по ночам кто-то играет на скрипке. Говорят, это души утопленников плачут. Говорят... — он замолчал, перекрестился уже в четвёртый раз, — говорят, там живёт женщина, которая не стареет.

— А вы её видели?

Хозяин посмотрел на неё так, как смотрят на человека, который спросил, видел ли он собственный затылок.

— Я? — сказал он. — Я в море хожу, мадемуазель. Мне хватает.

Он сказал это быстро и с облегчением — с тем облегчением, с каким человек отвечает на вопрос, к которому готовился. И Мадлен, глядя на него, вдруг поняла простую вещь: он не боялся отвечать. Он боялся, что она спросит о том, о чём он уже решил молчать. И весь этот разговор про скрипку и утопленников был не рассказом, а отводом глаз — как отводят глаза, когда показывают фокус.

— Спасибо, — сказала она и достала вторую монету. — Комната мне всё равно понадобится. Вернусь к вечеру.

Хозяин взял монету, но не сразу; секунду он держал её на весу, будто взвешивал не серебро, а решение.

— Куда ж вы на ночь глядя? — всполошился он. — Дороги небезопасны! Волки... да и не только волки... В лесу сейчас такое водится, что и волки обходят стороной. Я серьёзно, мадемуазель. Оставайтесь. Завтра утром поедете, с солнышком. Хозяин гостиницы, который снимет с вас и за комнату, и за ужин, — это я, кстати. Двойная выгода для меня, если останетесь.

— Вы умеете уговаривать, — Мадлен улыбнулась. — Но не сегодня. Я быстро. Ужин, впрочем, приготовьте: вернусь голодной. Надеюсь, у вас есть что-нибудь, кроме рыбы.

— Есть, мадемуазель. — Хозяин поклонился с таким подбострастием, что едва не уронил поднос с кружками. — Есть и мясо. И вино. И хлеб, свежий, из печи.

— Вот и славно.

Хозяин проводил её наверх сам, хотя мог бы послать девочку: лестница была крутая, тёмная, со ступенями разной высоты, и он шёл впереди, заслоняя свечу широкой ладонью, — то ли чтобы не задувало, то ли чтобы не так хорошо было видно, куда идти.

Комната оказалась неожиданно чистой.

Узкая кровать под серым одеялом, застеленная так аккуратно, что углы были подогнаны, как на госпитальной койке. Стол, табурет, медный таз на табурете, кувшин. Окно с видом на мокрый двор и на чужую крышу, по которой ходили чайки. В щелях пола — ни пыли; кто-то подметал здесь недавно и подметал старательно, запуская веник под самую кровать.

Мадлен прошла к окну и по дороге положила ладонь на дверной засов.

Засов был новый.

Не то чтобы совсем новый — дерево уже потемнело от рук, — но железо было другим: гладким, без раковин, с той ровной чернотой, которую даёт кузнечная окалина, а не ржавчина. И он ходил легко, без скрипа и без заедания, потому что петля была смазана.

Хозяин смотрел, как она трогает засов, и лицо у него было такое, будто он решает, заговорить или промолчать, и уже понимает, что опоздал.

— Хорошая комната, — сказала Мадлен. — Крепкая.

— Крепкая, — согласился он. — Я её держу для гостей. Для хороших гостей.

— И часто у вас бывают хорошие гости?

Он не ответил. Только пожал плечами — и в этом пожатии было столько всего, что Мадлен не стала спрашивать дальше.

Она выглянула вниз. Двор, лужа, поленница под навесом, две курицы. И — на мокрой земле у самого крыльца — следы. Много следов, затоптанных, старых, и поверх них другие, свежие, но и те уже размытые дождём.

Один след был узкий и длинный, с высоким подъёмом.

Не мужской сапог и не женский башмак. Такой след оставляет нога, которая ступает на пятку и почти не оставляет подошвы.

— Хозяин, — сказала она, не оборачиваясь, — а кто жил в этой комнате до меня?

— Никто, — сказал он слишком быстро. — Никто не жил. Она пустая стояла.

— Пустая, — повторила Мадлен. — А засов новый.

Он молчал.

— Я не стану вас выдавать, — сказала она мягко. — Мне нужно знать только одно: он ещё приходит?

Долгая пауза. Внизу звякнула кружка, кто-то засмеялся и тут же замолчал, будто ему зажали рот.

— Приходит, — сказал хозяин совсем тихо. — Раз в месяц. Платит вперёд и велит не подниматься. Я и не поднимаюсь, мадемуазель. Я старый. Мне жить ещё хочется, а любопытных здесь не любят.

— А если он придёт сегодня?

Хозяин посмотрел на неё и вдруг улыбнулся — криво, без всякого веселья.

— Не придёт. Он вчера был.

Мадлен стояла очень тихо.

Вчера. Значит, следы во дворе — вчерашние. Значит, и тот узкий след, что ступает на пятку, оставлен не неделю назад и не месяц, а вчера ночью, — и дождь, шедший с утра, не успел его съесть.

Она кивнула и спустилась по лестнице, не сказав больше ни слова.

Она вышла из таверны, чувствуя спиной взгляды посетителей. Рыбаки, торговцы, несколько мрачных типов в тёмных плащах — все смотрели на неё так, будто видели привидение.

Что ж. Возможно, они и видели. Только привидение в этой истории — не она.

У экипажа к ней подскочила старуха в лохмотьях — цыганка, судя по цветастому платку и золотым серьгам до плеч. Схватила за руку; пальцы были холодными, костлявыми, как птичьи лапки.

— Ты идёшь во тьму, красавица. Я вижу по глазам: тьма уже в тебе. Она ждёт своего часа. Не ходи туда. Вернись, пока не поздно. Пока ты ещё можешь вернуться.

Мадлен мягко высвободила руку.

— Спасибо за предупреждение, мадам. Но у меня нет выбора.

— Выбор есть всегда, — старуха посмотрела прямо в глаза, и в её мутных зрачках мелькнуло что-то странное, не человеческое. — Просто не все готовы его сделать. Ты — готова. Но помни: когда встретишь её, не смотри ей в глаза. Иначе пропадёшь.

— Кого «её»?

Но старуха уже исчезла, растворилась в тумане, будто её и не было.

Мадлен постояла минуту, глядя вслед, потом встряхнула головой и села в экипаж.

— Поехали, Жан. В аббатство. К ночной даме.

И только когда лошади тронули, она поняла, что старуха не спросила ни имени, ни куда она едет. Ни одного вопроса. Женщина, которая предупреждает незнакомых людей об опасности, обычно спрашивает, куда они идут. Эта знала.

Знала — и всё равно пришла.

Экипаж подпрыгивал на ухабах, когда они свернули с основной дороги на узкую тропу. Мадлен смотрела в окно и чувствовала, как воздух становится другим: влажным, холодным, пропитанным запахом моря и прелых листьев. Запах был не просто запахом — он был вкусом: солёным, горьковатым, с привкусом йода и гниющих водорослей.

Где-то здесь, среди этих лесов, среди руин и скал, таилась разгадка.

Она открыла манускрипт на странице, где остановилась, и продолжила читать. Свеча в фонаре мерцала, и буквы плясали, как живые.

Потом экипаж резко остановился — так резко, что Мадлен едва не врезалась головой в перегородку. Лошади заржали, встали на дыбы.

— В чём дело, Жан? — крикнула она, потирая ушибленный локоть.

Ответа не последовало.

Тишина.

Только ветер шумел в кронах, и где-то вдалеке каркала ворона. Раз, другой, третий. Карканье было хриплым, зловещим, как смех умирающего.

— Жан!

Ни звука.

Она отодвинула занавеску и выглянула. Экипаж стоял посреди дороги, окружённой высокими деревьями, голые ветви которых переплетались над головой, образуя туннель, где даже днём царил полумрак. Кучера на козлах не было. Следов борьбы — тоже.

— Жан? — в третий раз, уже с ноткой настоящего страха.

Тишина. Только ветер. Только ворона. И ещё — шорох. Кто-то шёл по лесу: легко, почти невесомо, не касаясь земли.

Мадлен сжала в руке маленький револьвер — тот самый, что ещё в деревне переложила из саквояжа в карман. Отец учил: женщина должна уметь защитить себя. Особенно если она охотится на монстров. Она открыла дверцу и шагнула наружу.

Ноги утонули в мокрой траве. Воздух был холодным и влажным, как в погребке. Дорога пуста; лошади стояли спокойно, только прядали ушами, прислушиваясь к чему-то недоступному человеческому слуху. Кучера нигде не было. Исчез. Испарился. Растворился в тумане.

Она обошла экипаж, заглянула под козлы, потрогала кожаное сиденье.

Сиденье было тёплым. Ещё тёплым.

Вот это было хуже всего. Не пустое место кучера, не тишина, не следы — а тепло, которое остаётся в вещи после человека и держится в ней минут десять, не больше. Жан ушёл недавно. Жан ушёл сам — или его увели так, что он не успел ни крикнуть, ни схватиться за что-нибудь.

Мадлен присела и посмотрела на землю. В грязи у колеса отпечатался след: узкий, длинный, с высоким подъёмом — не мужской сапог и не женский башмак. Такой след оставляет нога, которая ступает на пятку и почти не оставляет подошвы, потому что не собирается задерживаться.

Такой же она видела утром — на мокрой земле под крыльцом таверны.

Один след.

— Жан!

И тогда она услышала это.

Смех.

Тихий, мелодичный, похожий на перезвон серебряных колокольчиков. Он доносился из глубины леса, из-за деревьев, и с каждым мгновением становился громче, ближе. В этом смехе не было злобы. В нём было что-то другое: древнее, знающее, почти ласковое.

Мадлен подняла револьвер. Рука не дрожала — страх ушёл, остался холодный расчётливый азарт. Она была охотницей. И она нашла добычу.

— Выходите! — крикнула она. — Или я буду стрелять!

Смех оборвался так же внезапно, как начался.

И в наступившей тишине раздался голос, от которого у Мадлен похолодела спина:

— Ты пришла, моя маленькая охотница. Я знала, что ты придёшь. Прости, я подготовила речь, но в ней было слишком много «я знал» — а потом я вспомнила, что я женщина, и всё пришлось переписывать.

Мадлен замерла.

Голос был низким, бархатным, с лёгкой хрипотцой, от которой по коже бежали мурашки. В нём не было угрозы — была насмешка. И ещё что-то, чему она не находила имени: что-то, отчего сердце начинало биться быстрее, хотя разум кричал «беги».

— Кто ты? — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо. — Покажись!

Тишина.

А затем из-за дерева, стоявшего у самой дороги, вышла фигура.

Это была женщина.

Высокая, тонкая, с распущенными чёрными волосами, которые, казалось, жили своей жизнью, извиваясь на ветру. Тёмное платье облегалo её, как вторая кожа, и когда она шагнула вперёд, Мадлен увидела лицо.

Оно было прекрасным. Той красотой, которая не принадлежит этому миру: бледная, как мрамор, кожа, высокие скулы, тонкие губы — и глаза. Глаза, в которых не было дна.

Чёрные, глубокие, они смотрели прямо на Мадлен, и в них танцевали огоньки: то ли отражение заката, то ли что-то более древнее и опасное — отсветы костров, горевших тысячи лет назад, отражение луны, светившей ещё до того, как человек научился писать.

И ещё Мадлен отметила — потому что отмечать было единственным, что она умела делать с собственным страхом, — две вещи, которые не сходились.

Платье женщины было сухим. Не влажным, не отяжелевшим от подола, а совершенно сухим, хотя она шла через мокрый лес, где трава стояла по колено и с каждого куста капало. И башмаки у неё были чистые. Не в грязи, не в листьях — чистые, будто она не шла, а была поставлена сюда.

Человек, который живёт в лесу, пахнет лесом. От неё пахло вишней и — слабо, на самом дне, — железом.

— Кто я? — переспросила женщина, и на её губах появилась лёгкая улыбка. — Меня зовут Катрин. И я та, кого ты ищешь, Мадлен де Монброн. Только ты ещё не знаешь этого. Ты думала, что ищешь убийцу, тайну, разгадку. А на самом деле ты искала меня.

Мадлен направила револьвер ей в грудь. Рука твёрдая. Палец на спусковом крючке.

— Не подходите.

Катрин улыбнулась шире. В улыбке было что-то пугающее и одновременно завораживающее — как у змеи, которая не сомневается в исходе. Или у женщины, которая точно знает, что ей ничего не угрожает.

— Ты не выстрелишь. Во-первых, твой револьвер заряжен серебряными пулями, а я не из тех, кого они берут. Серебро меня обжигает, но не убивает: скорее раздражает, как колючее одеяло. А во-вторых, — она шагнула вперёд, и Мадлен почувствовала, как её рука с оружием начинает дрожать, — потому что ты умна. И уже поняла: я единственная, кто может дать тебе ответы.

— На что?

— На всё. — Катрин сказала это просто, как говорят «на кухне». — На вопросы, которые ты боишься задать самой себе. О том, почему ты видишь во сне ту же женщину, что и виконт Жак. О том, почему манускрипт, который ты держишь в руках, написан твоей собственной прабабкой. О том, почему твой отец умер не от сердечного приступа, а оттого, что знал слишком много. И о том, почему ты чувствуешь, что ночь тебя зовёт. Потому что она зовёт. И ты слышишь. Ты всегда слышала.

Мадлен замерла.

Откуда она знает про сны? Про прабабку? Про манускрипт? Про отца?

И тут же, следом, пришла вторая мысль, холодная и точная, как лезвие: она сказала «твоя прабабка» — а имени не назвала. Имени она не знала. Или знала, но держала при себе, как держат козырь.

— Вы... читаете мысли?

— Нет. — Катрин покачала головой, и её волосы блеснули в лучах заката, будто были сделаны из жидкого шёлка. — Я просто знаю. Потому что я ждала тебя. Все эти годы. Все эти века. Я присматривала за твоим родом с тех пор, как Мария ушла. Я видела, как рождаются и умирают твои предки. Я знаю, что в вашей семье передаётся по женской линии не только проклятие, но и дар: дар видеть правду. И ты, Мадлен, видишь её сейчас. Правду о том, кто ты.

Мария.

Она назвала имя. Назвала так, как называют имя человека, которого знали близко и давно, — без нажима, с той ровной теплотой, с какой говорят о покойных родственниках.

И значит, козырь был не в том, что она знает имя. Козырь был в том, что она держала его до нужной минуты и выложила тогда, когда он бил сильнее всего.

Мадлен знала это имя. Оно стояло на надгробии в фамильном склепе в Монброне, под слоем пыли и лишайника, и его произносили в доме шёпотом, как произносят слова, за которые потом приходится отвечать. Мария де Монброн. Прабабка. Год смерти — тысяча восемьсот двадцать шестой.

Тот же год, что стоял в каталоге. «Дело Борегаров. Материалы переданы в Институт тайн. 1826».

Она протянула руку.

Пальцы были тонкими, белыми, с длинными ногтями, покрытыми тёмным, почти чёрным лаком. Она протянула их к Мадлен — и остановила на полпути, не дотянувшись. Не взяла. Ждала.

Мадлен смотрела на эту руку и понимала: если она сейчас коснётся её, жизнь изменится навсегда.

Но выбора у неё не было.

Потому что за спиной, из глубины леса, уже доносились шаги — тяжёлые, размеренные, нечеловеческие. И она знала: если сейчас не уйдёт с этой женщиной, те, кто приближается, не оставят от неё и следа. Она чувствовала их — голодных, древних, сильных. Они шли за ней.

Шаги не ускорялись. Вот что было странно. Люди, идущие за добычей, ускоряются; звери бросаются. А эти шли ровно, как метроном, с одинаковым промежутком между ударами, и от этой ровности по спине шёл холод, какого не даёт ни один бег.

— Кто там? — спросила она, не оборачиваясь.

— Мои. — Катрин не повысила голоса. — Они голодны и глупы, и они не любят, когда в их лес приходят чужие. Если хочешь, я скажу им уйти.

— А если не скажете?

— Тогда они подойдут через минуту. — Катрин чуть склонила голову. — Я не стану тебя спасать, Мадлен. Я предлагаю, а не спасаю. Это разные вещи, и разница между ними — единственное, что я за все эти века так и не научилась объяснять людям.

Мадлен убрала револьвер.

Не потому, что поверила. Потому что поняла: с этим человеком её спасёт только одно — ясная голова. А ясная голова не держит оружия, из которого не станет стрелять.

— Куда мы идём?

Катрин улыбнулась, и в этой улыбке было столько древней тёмной нежности, что у Мадлен перехватило дыхание.

— В место, где нет времени. Где прошлое и настоящее — одно. Где ты узнаешь, кто ты на самом деле. И где ты встретишь свою судьбу.

— А если я откажусь?

— Ты не откажешься. — Катрин произнесла это без нажима, как факт из справочника. — Потому что внутри тебя уже проснулась жажда. Та самая, что погубила твою прабабку. Та самая, что сводит с ума виконта Жака. Та самая, что делает ночь прекрасной и страшной одновременно. И ты хочешь узнать, что будет, если её утолить. Я права?

Мадлен сглотнула.

Она хотела возразить. Сказать, что это бред, что она охотница, а не добыча, что всё это — дурной сон, от которого она вот-вот проснётся.

Но слова застряли в горле.

Потому что Катрин была права.

Она чувствовала это уже несколько дней: странный ноющий голод, просыпавшийся с наступлением темноты. Голод не по еде. Не по воде. Голод по чему-то другому, чему она не находила названия, но знала каждой клеткой тела.

Голод, от которого кровило сердце.

— Хорошо, — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Веди.

Катрин взяла её за руку.

Пальцы были холодными. Не просто прохладными — ледяными, как у статуи, простоявшей всю ночь под открытым небом зимой.

Но когда они сомкнулись на запястье Мадлен, по телу прошла горячая волна, от которой подкосились ноги. Жар и холод одновременно — пьянящее ощущение, от которого закружилась голова. Она успела подумать: так, наверное, чувствует себя человек, которого держат за руку на краю обрыва, и он ещё не решил, шагнуть или отступить.

— Не бойся, — прошептала Катрин, наклоняясь к её уху. Голос был низким, вибрирующим, как струна контрабаса. — Я не причиню тебе вреда. По крайней мере, не сегодня. Может быть, завтра. Но не сегодня.

И лес начал таять, расплываться, превращаться в туман.

Мадлен почувствовала, как земля уходит из-под ног, как воздух становится плотным и сладким, как пахнет кровью и розами. Она услышала шёпот — тысячи голосов, звавших её по имени, перекликавшихся, сплетавшихся в многоголосый хор: Мадлен...

Мадлен... иди к нам... мы ждём...

А затем всё исчезло.

И осталась только тьма.

Тёплая, живая, пульсирующая.

Тьма, в которой горели два чёрных глаза.

— Добро пожаловать домой, Мадлен, — сказал голос Катрин. — Добро пожаловать в мир вечной ночи. Прости, что без торжественной встречи: обычно у нас играет скрипка, но я была занята — ждала тебя.

Когда Мадлен открыла глаза, она лежала на чём-то мягком, пахнущем лавандой.

Над ней был высокий каменный потолок, по которому плясали отблески свечей. Стены увиты гобеленами, и на них вытканы сцены охоты — нет, не на зверей. На людей. На одном гобелене женщина в белом платье вонзала клыки в шею рыцаря; на другом та же женщина пила из золотой чаши. Уютное местечко.

Мадлен лежала неподвижно и считала.

Так она делала всегда, когда просыпалась в незнакомом месте: сначала считала то, что можно проверить, и только потом позволяла себе испугаться. Первое: она жива, потому что болит левое плечо, отлёжанное за ночь. Второе: она не связана, руки свободны, пальцы слушаются. Третье: на ней чужая одежда. Четвёртое: в комнате тепло, но воздух свежий — значит, где-то есть тяга, значит, есть окно или отдушина, значит, это не склеп.

Пятое: она не помнит, как сюда попала.

Вот это и было самое неприятное. Память обрывалась на голосе, на шёпоте, на фразе «иди к нам», и дальше шла ровная, гладкая темнота, без сновидений, без времени.

Она села и огляделась.

Комната была огромной, больше похожей на тронный зал, чем на спальню: потолок терялся в тени, и балки под ним были такие толстые, что на каждой мог бы улечься человек. В центре стояла кровать под балдахином из тёмно-красного бархата, на которой она и лежала, одетая в какую-то лёгкую полупрозрачную сорочку, которую не надевала. Сорочка была тонкой, почти невесомой, и Мадлен чувствовала себя в ней голой, хотя, строго говоря, была одетой. Ткань холодила кожу и в то же время прилипала к ней, и от этого двойного ощущения — холода и прикосновения — по спине шли мурашки, которых она не могла ни унять, ни объяснить.

Пахло лавандой, воском и камнем. И ещё чем-то, чего она не могла назвать: сухим, тёплым, чуть сладковатым, как пахнет шерсть, которую долго носили и ни разу не стирали.

— Где моя одежда? — спросила она в пустоту.

— Сохнет, — ответил голос Катрин. — Твоё платье промокло в лесу, пока я тебя переносила. И вообще оно было некрасивое. Серое, скучное. Я распорядилась его высушить, но, если честно, надеюсь, что ты его больше не наденешь. А пока можешь надеть это.

Катрин вышла из тени, держа длинный шёлковый халат тёмно-вишнёвого цвета, расшитый золотыми драконами.

Она подошла и остановилась в двух шагах — ровно на том расстоянии, на котором человек может взять вещь, но не может коснуться того, кто её протягивает. И держала халат на вытянутых руках, и ждала.

Мадлен взяла.

Шёлк оказался холодным и тяжёлым, как вода. Она накинула его на плечи, запахнула, затянула пояс — и только тогда позволила себе выдохнуть.

— Ты в моём доме, Мадлен. В аббатстве Мон-Сен-Мишель. Точнее, в его старой части, о которой не знают туристы. Её строили в девятом веке, и с тех пор здесь мало что изменилось. Разве что провели водопровод. Ну, почти провели.

— Как мы сюда попали? Я ничего не помню.

— Я перенесла тебя. Это одно из моих умений: полезная штука, экономит время на экипажи. Жаль, твоего кучера пришлось усыпить и отправить обратно в деревню. Он жив, не волнуйся. Просто не будет помнить, что видел.

— Жив.

— Жив.

Мадлен посмотрела на неё и не отвела глаз.

— Я хочу его увидеть.

Катрин чуть приподняла брови.

— Зачем?

— Затем, что вы говорите «жив» так, как говорят «надеюсь, что жив». — Мадлен запахнула халат плотнее. — И затем, что у меня нет оснований вам верить, а у вас есть все основания не заботиться о моём кучере. Мне нужно не слово. Мне нужно лицо.

На секунду в комнате стало очень тихо. Свеча у изголовья дрогнула, и тень от канделябра качнулась по стене, как маятник.

Потом Катрин улыбнулась — и в этой улыбке было что-то, чего Мадлен не ожидала: удовольствие. Так смотрит учитель на ученика, который впервые задал вопрос не по учебнику.

— Хорошо, — сказала она. — Завтра. На рассвете его приведут в деревню, и ты сможешь посмотреть на него из окна нижней галереи. Он будет спать на ходу и ничего не вспомнит, но ты увидишь, что он цел.

— Спасибо.

— Не благодари. — Катрин отвернулась и прошла к камину. — Я делаю это не из доброты. Я делаю это потому, что мне нужно, чтобы ты мне верила, а вера покупается только проверкой. Это единственная валюта, которую я признаю.

Мадлен смотрела на неё и отмечала.

В свете свечей Катрин выглядела ещё более нереальной: кожа светилась изнутри, глаза мерцали, как звёзды, и от неё исходил странный пьянящий аромат — смесь крови, ладана и чего-то сладкого. Она двигалась без усилия, без тех мелких поправок, которые делает тело, чтобы удержать равновесие; так двигается вода в сосуде, который несёт очень ровно.

— От тебя пахнет вишнями, — сказала Мадлен. — И ещё... железом.

— Вишнёвая настойка. Моя слабость. — Катрин улыбнулась. — А железо — это кровь. Я недавно ужинала. Не человек. Козёл. Очень старый и очень злой козёл. Я сделала миру одолжение.

Мадлен моргнула. Она не ожидала, что разговор о вампирах начнётся с обсуждения диеты.

— Ты шутишь?

— Абсолютно серьёзна. Козёл бодался с монахами триста лет. Они боялись его до дрожи. Я избавила их от страха. И от козла. Все довольны. Монахи, правда, потом устроили благодарственный молебен и чуть не спалили мой дом: решили, что я ангел. Пришлось разубеждать.

— Ты вампир? — спросила Мадлен прямо.

— Я то, что люди называют вампиром. Но слово это слишком примитивное: звучит как болезнь. Или как ругательство. Люди говорят «вампир» вполголоса, оглядываясь, будто боятся, что услышат. А я не боюсь. Я древняя. Я помню времена, когда люди жили в пещерах и поклонялись луне. Помню, как строили первые пирамиды. Помню, как изобрели колесо — кстати, разочарование: все ждали чего-то более впечатляющего, а получился круглый камень с дыркой. Помню, как впервые зажгли огонь: вот это было зрелище. — Она помолчала. — Я потомок той, кого вы называете Лилит. Первой женщины. Первой, кто попробовал кровь и познал истину.

— Истину?

— Что смерть — не конец, а начало. Что кровь — не просто красная жидкость, текущая по жилам. Это память. Это сила. Это жизнь, которую можно забрать и сделать своей. Каждая капля хранит воспоминания того, кому принадлежала. Когда я пью кровь человека, я узнаю его историю. Его радости. Его страхи. Его любовь. Это величайший дар и величайшее проклятие одновременно. — Катрин помолчала, и голос её стал тише. — И ещё: любовь — единственное, что сильнее жажды. Ты это поймёшь. Со временем.

Мадлен слушала и делала то, что делала всегда: отделяла проверяемое от непроверяемого.

Проверяемым было немного. Камень под ногами — девятый век, кладка ещё римская по раствору, она видела такую в подвалах Института. Гобелены — северные, фламандские, конец пятнадцатого. Свечи — восковые, дорогие, горят ровно, значит, их меняют каждую ночь, значит, здесь есть прислуга или их отсутствие тщательно скрывают. Кровать под балдахином — красное дерево, работа хорошая, но не музейная: на ножке свежая царапина, будто задела сапогом.

Непроверяемым было всё остальное. Лилит. Пещеры. Пирамиды. Кровь, которая помнит.

— Ты сказала «потомок», — заметила Мадлен. — Не «дитя». Потомок — это слово из тех, которыми пользуются, когда хотят сказать «я не первая и не единственная». Сколько вас?

Катрин обернулась.

— Ты первая, кто спросил об этом в первую же ночь.

— Я не спрашиваю из вежливости. Я спрашиваю, потому что мне нужно знать, с кем я имею дело: с одной женщиной, у которой есть дом и странные привычки, или с общиной, у которой есть правила и счёты.

— С обеими, — сказала Катрин. — И это самый честный ответ, какой я могу тебе дать, не соврав.

— Тогда ещё один вопрос. — Мадлен села ровнее, подтянув под себя ногу. — В книге, между восьмьдесят восьмым и восьмьдесят девятым листами, лежали две лилии. Одна ветка, два бутона. Один положили туда жёлтым, второй — уже чёрным. Это ваши?

Катрин не ответила сразу.

И это молчание сказалось Мадлен больше, чем ответ: до сих пор на любой её вопрос у этой женщины был готовый ответ, ровный, как по линейке. А сейчас ответа не было. Была пауза — короткая, в полторы секунды, — и в эту паузу уместилось всё: удивление, расчёт и что-то очень похожее на боль.

— Нет, — сказала она наконец. — Не мои.

— Чьи?

— Ты задаёшь вопросы, на которые у меня нет ответов, и это, признаюсь, раздражает. — Катрин прошла к камину и положила ладонь на каменную полку, будто ей вдруг понадобилась

опора. — Но одно я тебе скажу, и это не догадка. Лилии кладут в гроб, а не в книгу. Так делали в Бретани: ветку лилии — на грудь покойному, чтобы он нёс с собой чистоту. Две лилии с одной ветки — это не цветы. Это знак: умерли двое.

Мадлен почувствовала, как у неё холодеют пальцы.

— Значит, книга была в гробу.

— Значит, книга была в гробу, — повторила Катрин. — И её оттуда достали. Потому что у неё мокрое нижнее поле, да? Волнистый след по первым сорока листам. Это не вода из лужи, Мадлен. Это вода из могилы: она поднимается медленно и стоит в гробу годами, и бумага пьёт её снизу, ровной линией.

— А сажа?

— Сажа — это свечи тех, кто её потом читал. — Катрин обернулась. — Ты держишь в руках вещь, которую похоронили, а потом выкопали. И тот, кто выкапывал, знал, за чем идёт.

Мадлен сидела очень тихо.

Вот это был уже не факт. Это была связка: гроб, вода, лилии, разрезанная печать, вшитые листы. Вещь, которую положили к мёртвым, чтобы она ушла вместе с ними, вернули в мир живых — и вернули не случайно, не грабители, искавшие серебро, а человек, который знал, где искать, и знал, что ищет.

— Кому это было нужно? — спросила она.

— В Париже есть те, кто считает себя стаей и зовёт себя стражей, — сказала Катрин. — Они собирают старые книги, потому что верят: в книгах записано, как нас можно убить. А во Флоренции есть те, кто собирает их по другой причине: они верят, что в книгах записано, как нас можно сделать. Те и другие ищут одно и то же и читают по-разному. — Она помолчала. — Я не люблю ни тех, ни других. Я слишком стара для чужих войн.

— И к какой из сторон относится человек, который подложил мне эту книгу?

— Вот это, — сказала Катрин, — правильный вопрос. И я не знаю на него ответа. Что само по себе ответ.

Она отошла от камина и посмотрела на Мадлен внимательно, без насмешки, без той бархатной лени, которая была в её голосе всю ночь.

— И ещё, чтобы ты не считала меня честнее, чем я есть. Я не лгу тебе. Я не договариваю. Это разные грехи, и второй, поверь, тяжелее: человек, которому солгали, может поймать на слове. Человека, которому не договорили, поймать не за что — он сам достроит, что захочет, и потом будет винить тебя в своей же догадке.

— Это удобная философия.

— Это единственная, которая позволяет мне смотреть на себя в зеркало столько веков, — сказала Катрин. — Зеркало, кстати, я тоже держу в другой комнате. У вампиров с ним сложные отношения.

Она подошла к кровати и села на край. Их разделяло несколько сантиметров, но Мадлен чувствовала исходящий от неё холод — и одновременно жар, который, казалось, шёл от самой Катрин и проникал внутрь, согревая. Противоречивое ощущение, как если бы грелась у костра, который одновременно является айсбергом.

— Зачем я здесь? — спросила Мадлен, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Правду. Я хочу знать правду.

— Потому что ты — ключ. — Катрин посмотрела прямо в глаза. — Твоя прабабка, Мария де Монброн, была первой из вашего рода, кто заключил сделку с тьмой. Она продала душу, чтобы спасти возлюбленного. Тьма её не обманула — это было бы милосерднее: тьма выполнила условие буквально и превратила обоих в то, что не умирает. И теперь проклятие передаётся по женской линии. Каждое поколение — одна женщина, которая чувствует жажду. Которая видит сны. Которая однажды может стать одной из нас. Ты — последняя. Если ты

не разорвёшь круг, проклятие продолжится. Если станешь одной из нас, но сделаешь это осознанно, — круг разорвётся.

— Стоп. — Мадлен подняла руку. — Здесь у вас два утверждения, и они друг другу противоречат.

Катрин замолчала. Её глаза сузились — не от гнева, от интереса.

— Продолжай.

— Вы говорите, что проклятие передаётся по женской линии и что я — последняя. Но если я стану вампиром, я перестану быть женщиной вашего рода в том смысле, в каком вы это слово употребляете: я не умру, не рожу, не передам ни жажды, ни дара. Тогда линия обрывается не потому, что круг разорван, а потому, что её некому продолжать. Это разные вещи. Разорванный круг — это когда долг уплачен. Оборванная линия — это когда долг просто некому предъявить. — Она помолчала. — Так что именно вы мне предлагаете: заплатить или сбежать?

В комнате стало очень тихо.

Катрин смотрела на неё долго, и в этом взгляде было что-то, отчего Мадлен почувствовала себя не допрашиваемой, а рассматриваемой — как рассматривают редкий экземпляр, случайно попавший в руки.

— Я предлагаю, — сказала она наконец, — чтобы ты стала одной из нас по своей воле. Не из страха, не из выгоды, не из любопытства. По воле. Тогда то, что было сделкой, станет выбором, а сделка, ставшая выбором, перестаёт быть долгом. Это и есть разрыв. Не в крови дело, Мадлен. Дело в том, кто подписывает.

— Красиво, — сказала Мадлен. — И совершенно непроверяемо.

— Да.

— Вы хотя бы признаёте.

— Я стараюсь не врать тем, кого собираюсь сделать бессмертными, — сказала Катрин. — Это дурной тон: человек, которому соврали, живёт потом слишком долго и слишком хорошо помнит.

Мадлен опустила глаза на свои руки. Пальцы были чистые — кто-то вымыл их, пока она спала, и от этого простого факта почему-то стало страшнее, чем от всех рассказов о Лилит. Кто-то держал её за руку, пока она была беспомощна, и делал это бережно.

— Я... должна стать вампиром?

— Не должна. Но можешь. — Катрин наклонилась ближе, и Мадлен увидела, что её зрачки расширились, заполнив почти всю радужку. — Если захочешь. Если готова принять тьму внутри себя. Если готова полюбить ночь. И если готова полюбить того, кто ждёт тебя в этой ночи.

— Кого?

— Ты знаешь. Ты всегда знала.

— А если не готова?

Катрин пожала плечами — жест, удивительно человеческий для существа, утверждавшего, что помнит Лилит.

— Тогда ты умрёшь. Не сегодня и не завтра: лет через пятьдесят. Состаришься, покроешься морщинами, и однажды во сне сердце остановится. И всё, что ты могла бы узнать, все тайны, которые могла бы раскрыть, вся вечность, которая могла бы быть твоей, умрут вместе с тобой. Виконт Жак сойдёт с ума от жажды и умрёт в мучениях. А проклятие перейдёт на следующее поколение. Если оно будет.

Мадлен молчала, переваривая. Вампиры. Проклятие. Прабабка. Виконт. Слишком много для одного вечера. Голова шла кругом, а в груди разгоралось странное тепло — то ли от камина, то ли от того, что сказала Катрин.

Она смотрела в эти бездонные глаза и чувствовала, что стоит на краю пропасти. Один шаг — и она упадёт. Или взлетит.

Что-то подсказывало: она уже упала. В тот самый момент, когда вышла из экипажа в лесу.

— У меня есть время подумать?

— Вся ночь. — Катрин встала и направилась к двери, но на полпути остановилась. — Кстати, я распорядилась принести тебе ужин. Не бойся, это не кровь: жареный цыплёнок с травами и бокал бургундского. Если захочешь чего-то другого... — она сделала паузу и улыбнулась своей загадочной улыбкой, — я знаю, где взять. Завтра мы начнём путешествие в прошлое. Я покажу тебе, кем была твоя прабабка. Её дневники, её письма, её любовь. И ты решишь, хочешь ли стать ею — или хочешь стать собой.

Она остановилась на пороге и обернулась. В глазах мелькнуло что-то — предупреждение? забота?

— И ещё, Мадлен. Берегись виконта Жака. Он ищет не ту женщину, что была в его сне. Он ищет тебя. Потому что именно ты — та самая «ночная дама» из его видений, только он этого не знает. Его жажда исказилась: вместо голода она дала ему наваждение. Ты для него как маяк. Он будет идти к тебе, не понимая почему. И если найдёт раньше, чем ты сделаешь выбор... он попытается обратить тебя. Сделать своей. Навеки. Или — если откажешься — убьёт. Потому что не вынесет мысли, что ты принадлежишь кому-то другому. Даже самой себе.

Дверь закрылась.

Мадлен осталась одна.

Она сидела на огромной кровати под балдахином, сжимая шёлковый халат, и чувствовала, как внутри поднимается волна — тёмная, горячая, пугающая.

Жажда.

Та самая, о которой говорила Катрин.

Принесли ужин — молча, без стука, будто еду поставили не люди, а сам дом. На подносе стоял цыплёнок, разрубленный на четыре части, с ветками тимьяна, лежавшими сверху, как положено кладут траву на мёртвое; лежал хлеб с трещиной по корке и бокал бургундского, тёмного, почти чёрного в свете свечи. Мадлен села на край постели, взяла хлеб и вдруг поняла, что голодна так, как не была голодна уже много лет, — не телом, а всем сразу, до костей.

Она ела руками. Мясо было горячим, сочным, с той простой и честной грубостью, которой не бывает в парижских ресторанах, где всё полируют до блеска. Жир стекал по пальцам, и она вытирала их о корку, и пила вино, и чувствовала, как жизнь возвращается в неё вместе с солью и хлебом. В какой-то момент она поймала себя на том, что ест слишком быстро, и заставила себя остановиться.

Вот что было важно. Не Лилит, не проклятие, не вечность. Важно было то, что она сидит в чужом доме, в чужой рубашке, и ест чужого цыплёнка, и ей вкусно. Вкусно — значит, она ещё человек. Пока вкусно, она человек.

Она отставила поднос и легла на спину, глядя в балдахин.

Жажда.

Она приснилась ему. Виконту Жаку. Он видел её во сне и теперь ищет по всей Франции. И убьёт, если найдёт.

Но почему при одной мысли об этом у неё внутри всё переворачивается? Почему хочется, чтобы он нашёл? Почему, когда Катрин сказала, что он может убить её, она почувствовала не страх, а странное, сладкое возбуждение?

Она попыталась представить его: высокий, темноволосый, с глазами, полными штормовой тоски. Она не знала, как он выглядит на самом деле, — неоткуда было знать. Но внутренний взор упрямо рисовал мужчину на краю скалы, глядящего на океан, с ветром в волосах и целой вселенной боли и надежды в глазах, смешанных в равных пропорциях.

— Ты существуешь? — прошептала она в пустоту. — Или я сошла с ума ещё до того, как встретила Катрин?

Ответа не было. Только скрипка.

Она повернулась на бок, подтянула к себе край одеяла и закрыла глаза.

Где-то вдалеке, в коридорах аббатства, зазвучала музыка: кто-то играл грустную тягучую мелодию, от которой сжималось сердце и хотелось плакать. Мелодия поднималась из подземелья, пробивалась сквозь камень и время и ложилась на грудь влажной липкой пеленой.

Мадлен вслушивалась и слышала в музыке голоса — тех, кто был до неё. Тех, кто любил и страдал. Тех, кто пил кровь и терял себя. И тех, кто находил себя заново — в ночи, в вечности, в объятиях друг друга.

И она знала: её жизнь больше никогда не будет прежней.

Потому что истина, которую она искала, оказалась страшнее любого проклятия.

И эта истина теперь смотрела на неё из тьмы глазами женщины с алыми губами.

Мадлен улыбнулась в темноту и прошептала:

— Ну что ж, виконт. Посмотрим, кто из нас кого найдёт первым.

За стеной скрипка заиграла громче, и в этой музыке ей почудился смех — древний, понимающий, обещающий.

Мадлен уснула под эту музыку, и во сне ей пришёл тот самый сон.

Она стояла на берегу океана — такого огромного, что горизонт терялся в бесконечности. Вода была чёрной, гладкой, не отражающей света. Луна — полная, огромная, серебряная — висела прямо над головой, и в её свете песок под ногами казался белым, как соль.

Она стояла босиком. Песок был холодным и сухим, и каждая песчинка чувствовалась отдельно, будто она стояла на рассыпанной крупе. Ветер шёл с воды, ровный, солёный, и нёс запах, который она знала всю жизнь и никогда не могла назвать: запах водорослей, йода и чего-то ещё, древнего, что остаётся на коже после долгого купания.

Она стояла одна. И ждала.

— Ты ждёшь меня, — раздался голос из-за спины.

Мадлен обернулась.

Он стоял в десяти шагах — мужчина из её видения. Высокий, плечистый, с чёрными волосами, которые трепал ветер. Бледный; глаза горели — но не злостью, а чем-то другим. Тоской. Голодом. Надеждой.

— Я жду, — сказала она. — Ты виконт Жак?

— Я тот, кто видит тебя во снах. — Он шагнул ближе. — Я не знаю твоего имени. Не знаю, кто ты. Но знаю, что ты та единственная, кого я искал всю жизнь. И что ты ждёшь меня так же, как я тебя.

— Это безумие. Мы не знакомы.

— А мы и не должны быть знакомы, — ответил он. — Мы должны узнать друг друга. Сны — язык душ. Моя душа говорит с твоей. Твоя отвечает. Всё остальное — детали.

Он сделал ещё шаг и остановился. Не подошёл вплотную — встал там, где между ними оставалось расстояние вытянутой руки, и от этого расстояния у Мадлен перехватило дыхание сильнее, чем если бы он её коснулся. Он стоял и смотрел, и в его взгляде не было ни жадности, ни приказа. Было ожидание.

Он протянул руку.

И Мадлен, понимая, что совершает ошибку, понимая, что не должна, понимая, что Катрин предупреждала, — шагнула ему навстречу.

Его пальцы сомкнулись на её ладони. Они были тёплыми. Живыми. Настоящими.

И в этот момент она почувствовала то, чему не было слов: это правильно. Этот мужчина, эта ночь, этот берег, эта рука — всё было правильно. Предопределено. Записано в какой-то книге, которую она ещё не прочитала.

Она подумала: вот как это бывает. Не как в романах, где героиня падает в обморок от взгляда. А так: спокойно, страшно и окончательно, как когда закрывается дверь за спиной и ты понимаешь, что ключ остался внутри.

— Я найду тебя, — сказал он. — Где бы ты ни была. Найду. И не отпущу.

— А если я не захочу, чтобы ты меня находил?

— Ты захочешь. — Он улыбнулся — и от этой улыбки, болезненной и счастливой одновременно, у неё сжалось сердце. — Потому что ты ищешь меня так же, как я тебя. Ты просто ещё не знаешь.

Она хотела ответить. Хотела сказать, что ищет не его, а разгадку, что она никогда не путала человека с ответом на вопрос. Но берег начал светлеть, и вода пошла рябью, и его пальцы стали ускользать из её пальцев, как ускользает из руки вода, когда её зачерпнули слишком жадно.

— Как тебя зовут? — крикнула она.

— Ты уже знаешь, — сказал он. — Только не говори вслух. Здесь, если назвать, — уйдёт. Мадлен проснулась, чувствуя, что по щекам текут слёзы.

Она не плакала с похорон отца. Пять лет. А теперь плакала из-за сна о незнакомом мужчине, которого никогда не видела.

— Ты существуешь, — прошептала она. — Чёрт возьми, ты действительно существуешь.

Она лежала и смотрела, как светлеет потолок. Камень был сизым, потом серым, потом начал набирать тепло, будто его изнутри подсвечивали.

За окном начинался рассвет — первый за долгое время. Розовый, золотой, тихий. Мадлен встала, накинула халат и подошла к узкой бойнице, прорезанной в стене толщиной в добрых полтора локтя. Внизу расстилалась серая вода, уходящая до горизонта, и над ней медленно поднималось солнце, и его свет ложился на воду длинной дрожащей дорожкой, как будто кто-то рассыпал по волнам медную стружку.

Она смотрела на него, и внутри занимался другой рассвет: тот, который начинается не с солнца, а с решения.

И тут она вспомнила про Жана.

Лестница шла винтом, ступени были стёрты посередине — там, где по ним ходили восемь веков, — и Мадлен спускалась, держась за холодные перила, босиком, в одном халате, и ей было всё равно, кто её встретит. Внизу, в узкой галерее с каменными арками, было сумрачно и пахло морем.

Катрин стояла у окна. Она не обернулась, но сказала, будто ждала шагов:

— Ты пришла раньше, чем я думала. Я держу слово, Мадлен. Смотри.

Внизу, за стеной, на дороге, которая вела от аббатства к деревне, шли двое. Один — в грубой куртке, с непокрытой головой, шатался на ходу, как человек, которого разбудили посреди ночи и не дали опомниться. Второй придерживал его под локоть.

Жан.

Он был жив. Он был цел. Он спотыкался, оглядывался, тер лицо ладонью — и по тому, как он оглядывался, Мадлен поняла: он не помнит ни леса, ни остановки, ни того, как оказался здесь. Он помнит только, что ехал, а потом — сразу утро, и дорога, и чужой человек под локоть.

— Он будет спать двое суток, — сказала Катрин. — Потом забудет. Не всё: он вспомнит дорогу, лошадей, тебя. Он не вспомнит только эту ночь. Это милосерднее, чем правда.

Мадлен смотрела на его спину, на то, как он идёт — тяжело, по-стариковски, хотя ему не было и пятидесяти, — и чувствовала, как в горле встаёт ком.

— Спасибо, — сказала она.

— Не благодари. — Катрин наконец обернулась. В утреннем свете она выглядела старше: не лицом — лицо было то же, — а глазами, в которых не было ни насмешки, ни бархата. — Я держу слово не из доброты. Я держу слово потому, что слово — единственное, что у меня осталось от человека, которым я была. Всё прочее я отдала давно и, честно говоря, не помню, кому.

Мадлен постояла ещё немного, глядя, как две фигуры уменьшаются на дороге, и поднялась обратно.

Лист она исписала ещё вечером — бумага нашлась в ящике ночного столика, и письменный прибор здесь был, как и всё в этом доме: старый, дорогой и слишком долго никем не тронутый. Теперь лист лежал на подоконнике, придавленный флаконом, и буквы на нём были неровные, потому что писала она в темноте, на ощупь, как пишут люди, которым не терпится.

«Что проверено. Книга собрана из чужих решений. Вставные листы моложе основного текста на триста лет. Чернила на них парижские. Значит, вставку сделали в Париже. Значит, кто-то в Париже знал заранее, что будет написано, — или писал это уже после того, как случилось, чтобы выглядело предсказанием».

«Что проверено. Пометка в каталоге датирована 1826 годом. В том же году, если верить надгробию, умерла Мария де Монброн, моя прабабка. Катрин говорит «ушла», а не «умерла». Значит, либо на камне написано не то, что случилось, либо Катрин знает продолжение».

«Что проверено. Огюстен соврал дважды. Про опись и про ключи. Оба раза — о том, что можно проверить. Значит, он не хотел, чтобы я проверяла именно это. Значит, ему нужно было, чтобы я не смотрела на книгу и не спрашивала, как она ко мне попала».

«Что проверено. Моро не бежал. Значит, у него было время. Значит, он пришёл не сразу, как узнал, а тогда, когда решил, что пора».

«Что не проверено. Кто вложил вставные листы. Кто разрезал печать и оставил закладку. Кто положил книгу на мой стол за два дня до убийства. Три разных вопроса, и, возможно, один ответ».

Она перечитала написанное и подумала: ответ есть. Он лежит в этих строчках, как ключ лежит в комнате, — не потому, что его спрятали, а потому, что его не искали там, где он есть.

Три факта. Вставка сделана в Париже. Пометка сделана в том же году, когда умерла Мария. И человек, который врал о книге, врал ровно с того дня, как книга появилась.

Оставалось понять, кому в Париже было нужно, чтобы Мадлен де Монброн приехала в это аббатство именно сейчас, — и почему этот человек так старательно подсовывал ей пророчество вместо правды.

Ветер с воды ударил в бойницу, и она зажмурилась.

— Ну что ж, виконт, — сказала она, вытирая слёзы. — Посмотрим, кто из нас кого найдёт первым.

Ночь только начиналась. Но утро уже обещало.

Глава первая: Ночь, что дышит в руинах

Камень помнит руку, кожа помнит камень, и только память не помнит, кому она принадлежит.

Тьма, которая живёт в крови, не видна глазу; её чувствуют, как чужое дыхание у шеи, — и, как всякое дыхание, замечают лишь тогда, когда оно слишком близко. Она приходит не снаружи. Она поднимается изнутри, из глубин, куда не достаёт ни лампа, ни молитва, и когда доходит до горла, становится поздно: молитва обращена к тому, кто её не слышит, а жажда — к тому, кто слышит слишком хорошо.

Мадлен проснулась от музыки.

Скрипка плакала где-то внизу — то ли этажом ниже, то ли в соседнем крыле, то ли прямо под полом, в толще векового камня, куда звук уходит так же охотно, как вода в трещину. Мелодия была грустной и тягучей, как мёд, вытекающий из разбитого улья: она поднималась из глубины, пробивалась сквозь своды и ложилась на грудь влажной липкой пеленой, которую хотелось снять рукой.

Первой мыслью было: она снова в том сне. В тягучем сне, где берег, чёрная вода, где соль стынет на губах и где мужчина с глазами, полными шторма, держит её за руку чуть крепче, чем нужно, чтобы просто удержать. Но над ней был потолок. Каменный. Настоящий, с трещиной, шедшей от угла к балке и разветвлявшейся, как река на старых картах.

Мадлен открыла глаза.

Над ней нависал балдахин из тёмно-красного бархата, расшитый золотом. В узоры угадывались виноградные лозы, обвивавшие черепа, — оригинальный выбор для спального полога, надо отдать должное. Между черепами, если присмотреться, были вытканы розы: тёмные, почти чёрные, с каплями росы, которые на самом деле были каплями крови. Узор выцвел, но не потерял жутковатой элегантности; в складках бархата держался запах пыли, холодной золы и чего-то ещё, сладковатого, от чего ноздри расширялись, а мысли на секунду сбивались с шага.

Сквозь высокое окно с мутным стеклом сочился серый свет — тусклый, будто его пропустили через слой грязи.

Мадлен села. Голова закружилась так, что пришлось опереться ладонью о матрас; сорочка, в которую её переодели, соскользнула с плеча, обнажив ключицу, и она машинально поправила её — тем движением, каким поправляют одежду не для кого-то, а чтобы вернуть себе границы. Кожа на предплечье ныла. Мадлен посмотрела: четыре продолговатых синяка легли вдоль плеча, как следы пальцев, — обычная рука, обычная хватка, ничего примечательного, если не считать того, что её несли. Но на запястье, под косточкой, темнел другой след: узкий, почти замкнутый овал, будто кожу придавило чем-то твёрдым и круглым, с плоским краем.

Перстень. Печатка.

Она повернула руку, разглядывая отметину с тем холодным любопытством, которое в Институте тайн называли профессиональным, а отец называл «дурной наследственностью». Потом опустила рукав. Запоминать она умела; записывать было нечем.

Вчера вечером комната казалась огромной, почти бесконечной. Теперь, при свете, она съёжилась до размеров обычной опочивальни: кровать, кресло, туалетный столик с треснувшим зеркалом, в котором отражалась лишь половина лица, и шкаф, похожий на гроб, поставленный вертикально.

Мадлен присмотрелась. Не похожий. Это и был гроб: старый, дубовый, с бронзовыми ручками и латунной табличкой, на которой значилось: «Pour mes nuits qui n'en finissent plus». «Для моих ночей, которым не видно конца».

— Мило, — сказала она вслух. Голос в пустой комнате прозвучал сипло и слишком громко. — Очень жизнеутверждающе. Ни цветов, ни конфет, зато гроб в комплекте с балдахинном.

Гроб был не пустой. Крышка стояла неплотно, и в щели виднелась сложенная ткань — стопка белья, перевязанная лентой, и поверх неё что-то плоское, тёмное. Мадлен не стала открывать. Она отметила это отдельно, как отмечают в описи: «гроб — занят», — и оставила до лучших времён, потому что всякий архив начинается с того, что ты перестаёшь трогать вещи руками и начинаешь трогать их глазами.

На столике стоял графин с водой и тарелка с хлебом и сыром. Рядом — записка, написанная мелким, почти женским почерком:

«Съешь это. Ты пробыла без сознания двенадцать часов, а бледность тебе не идёт. После завтрака приходи в библиотеку — третья дверь налево по главному коридору. Я покажу тебе, откуда всё началось. К.»

Мадлен перечитала записку дважды. Почерк был тот же, что в манускрипте: тот самый, с длинными завитушками на заглавных буквах, с бисерной точкой над «i», которую рука выводила не сверху, а сбоку, крючком. Значит, не ошиблась — текст из аббатства писала сама Катрин. Или кто-то, кто владел тем же наклоном пера, что случается раз в сто лет и обычно заканчивается костром.

Она поднесла лист к окну.

Бумага была плотной, с водяным знаком, который она знала: три переплетённых кольца под короной. Тот же знак стоял на «копии» письма Марии — Катрин показывала его вчера, — и на обороте манускрипта, у самого корешка, где лист приклеен к переплёту и где никто, кроме архивариуса, не догадается искать. Бумага старая, с рыжими крапинами времени. Чернила — свежие: они ещё пахли желчью и железом, и в косом свете блестели, не впитавшись до конца.

— Значит, пишут на старом запасе, — пробормотала Мадлен. — Старая бумага, свежие чернила. Как письмо, которое пишешь, чтобы оно выглядело старым. Или как письмо, которое пишешь на том, что осталось от чужой жизни, потому что своей уже не хватает.

Она положила лист на место, ровно, как лежал, — и тут же поняла, что делает, и усмехнулась: преступники, о которых она читала в отчётах отца, тоже поправляли вещи, чтобы никто не заметил, что их трогали. Разница была в том, что она трогала не для того, чтобы скрыть, а чтобы запомнить.

— Или она сама и писала, — сказала Мадлен, откусывая хлеб. — Пятьсот лет назад. Аккуратная вековая дама с каллиграфическим почерком и гробом в спальне. В Париже о таких пишут в газетах, и обычно в разделе происшествий.

Хлеб оказался на удивление свежим, с хрустящей корочкой, которая сопротивлялась зубам ровно настолько, чтобы это было удовольствием. Сыр — мягким, с ореховым привкусом и с той секундной горечью, какая бывает у сыра, сделанного из молока, надоенного не вчера. Мадлен съела всё, выпила полграфина и почувствовала, как головокружение отступает, уступая место ясности; вода отдавала жёстью, но жёсть была честнее, чем всё остальное в этом доме.

Ясность была опасна. Ясность заставляла думать.

Она встала, подошла к двери и подёргала ручку. Заперто.

— Разумеется.

Окно было закрыто наглухо и, судя по всему, не открывалось лет сто: рама намертво приросла к стене слоем краски, наложенной поверх старой краски, а та — поверх ещё более старой, и вся эта слоёная чешуя топорщилась, как кора. Мадлен провела по ней ногтем, и под ногтем осталась серая пыль и крошка свинцовых белил.

За окном был не двор, а пропасть: аббатство стояло на скале, и от окна открывался вид на океан — серый, бескрайний, равнодушный, с той особой равнодушностью больших пространств, которая успокаивает лучше любой молитвы.

— Доброе утро, — сказала Мадлен океану.

Океан ничего не ответил, но она и не ждала.

Она стояла у окна ещё минуту, и минута эта оказалась важнее всего остального, потому что за минуту она успела заметить то, чего не замечают люди, когда просыпаются в чужом доме и думают только о запертой двери. Подоконник был дубовый, выскобленный до волокна, и на нём лежала светлая полоса — выцветшая, выбеленная, с сеткой мелких трещин, как старая кость. Полоса шла вдоль внутреннего края рамы, повторяя её изгиб, и была такой ровной, какой бывает только то, что выжигали годами, каждый день, в одно и то же время.

Солнце входило в это окно вечером. Низко, с запада, из-за океана, — иначе полоса легла бы не там и не так.

Мадлен перевела взгляд на пол. Тень от переплёта лежала на плитках длинная и тонкая, как решётка: значит, свет падал низко. А сам свет был серым, ровным, без желтизны и без тепла, — таким, каким он бывает не на восходе, а перед дождём, когда солнце уже ушло за воду и небо ещё не решило, кому принадлежит.

— Двенадцать часов, — сказала она медленно. — Ну конечно.

Она села на край кровати и стала считать, потому что счёт всегда успокаивал её лучше, чем слова. Её привезли ночью — она помнила дорогу обрывками: тряску, запах мокрой шерсти, чей-то рукав у самого лица, — потом лестницу, потом холодные пальцы на виске. Ночь, потом беспамятство, потом пробуждение. Если верить записке, она проспала двенадцать часов, и сейчас — утро. Но свет в окне был вечерним, а тень лежала так, как ложится тень за час до заката.

Значит, прошло не двенадцать часов. Прошло больше.

Мадлен не знала, насколько больше, и это было неприятнее всего: не ложь, а небрежность, из тех, какими врут слуги, уверенные, что барышня не станет проверять по солнцу. Кто-то очень хотел, чтобы она думала, будто времени у неё ровно столько, сколько сказано в записке.

— Хорошо, — сказала она вслух, и это «хорошо» прозвучало почти весело. — Начнём с того, что нам уже соврали. Это лучше, чем начинать с доверия.

На спинке кресла висело платье — тёмно-серое, простое, но сшитое по мерке, будто портной снимал мерки во сне. Рядом — нижняя сорочка, чулки, подвязки, гребень с перламутром.

— Гостеприимно, — сказала Мадлен. — Учитывая, что хозяйка утверждает, будто помнит Лилит лично, пошив на заказ за одну ночь — впечатляющий сервис. Пятизвёздочное аббатство. Жаль, номер запирают снаружи.

Она сняла платье с кресла и перевернула его наизнанку — не из подозрительности, а по привычке: так проверяют переплёт, прежде чем судить о книге. Швы сказали ей больше, чем сказал бы портной. Подол был подшит дважды: старый рубчик распорот, ткань отпущена на два пальца и подшита заново, и в одном месте, у самого края, сохранилась прежняя нитка — толстая, льняная, потемневшая от времени. Боковой шов тоже был перебран: видно было по следам иглы, по мелким точкам проколов, идущим рядом со швом, — как будто платье сначала ушивали, а потом расширяли обратно. Рукава укоротили, и в локтевом сгибе осталась складка, заглаженная утюгом так тщательно, что она казалась частью фасона.

А под левой проймой, там, где ткань прилегает к телу и где никто не смотрит, к подкладке была пришита метка: две буквы и инициал, вышитые выцветшим красным шёлком.

«M. de M.»

Мадлен держала платье на весу и чувствовала, как под пальцами холодная шерсть понемногу нагревается — от её рук, не от чьих-то ещё. Метка была старой; шёлк распушился, и в нём поселилась пыль, которую не выбивает никакая щётка.

— Ну конечно, — сказала она тихо. — Не за одну ночь. За двести лет.

Она натянула платье через голову. Оно село безупречно: в плечах ровно, в талии плотно, подол — на два пальца выше косточки, как она любила, и она никогда никому об этом не говорила. Шерсть холодила кожу, потом согрелась, и вместе с теплом пришло ощущение, от которого Мадлен стало не по себе больше, чем от запертой двери: платье сидело так, как сидит вторая кожа, — и пахло не пылью, а лавандой и воском, будто его только что достали из сундука, где оно лежало, сложенное чьей-то терпеливой рукой.

За двести лет никто не смог бы подогнать платье под неё. Значит, подгоняли не под неё — под ту, чей рост, чья талия и чьи плечи совпали с её собственными с точностью до пальца. И значит, женщина, которая правила этот шов, знала, что она придёт, задолго до того, как она пришла.

Мадлен заплела волосы в тугой узел — движения были отработанные, злые, — и, помедлив секунду, взяла со столика серебряную шпильку: тонкую, острую, достаточно длинную, чтобы проткнуть горло, если понадобится. Она заколола узел, и шпилька легла у самого виска, холодная, как чужая мысль.

Дверь поддалась со второго толчка — засов снаружи был старым и ржавым, косяк трухлявым, и гвоздь, державший скобу, вышел из дерева вместе с ней; ржавчина осыпалась на пол рыжей пылью.

Коридор встретил запахом ладана, воска и вековой пыли. Каменный пол вытерт до блеска миллионами шагов; стены покрыты фресками со сценами Страшного суда, и грешники, которых волокли в ад, смотрели на Мадлен с одинаково осуждающим выражением. Вон тот, которого черти тянули за ногу, подозрительно напоминал булочника с улицы Муфтар, обсчитывавшего её на каждом су. А тот, что кубарем катился в геенну, был вылитый инспектор городской полиции, вечно требовавший у Института отчёты.

— Хорошая компания, — кивнула Мадлен грешникам. — Приятно знать, что я в приличном обществе.

Она шла вдоль стены, считая двери. Счёт был не праздностью: в незнакомом доме счёт — единственное, что нельзя отнять. Первая дверь, вторая — дубовые, тёмные, с железными жиковинами, обе заперты. Третья была приоткрыта на палец; за ней темнело, и оттуда тянуло тёплым. Четвёртая — заперта. Пятая — заперта. На шестой, у самого пола, Мадлен заметила тонкую светлую полосу — щель, и из щели несло холодом, как из погребца.

На полу, шагах в десяти от первой двери, стояла на коленях женщина и тёрла камень.

Она была немолода, в тёмном платье и грубом переднике, с закатанными рукавами; волосы, седые у корней, были стянуты в платок, и платок этот промок на лбу. Рядом с ней стояла бадейка, в которой плавала тряпка. Женщина тёрла с тем ожесточением, с каким трут не грязь, а память о грязи, — кругами, всё в одном и том же месте, и камень под её рукой уже побелел, как кость, обнажённая до надкостницы.

— Доброе утро, — сказала Мадлен.

Женщина вздрогнула и прикрыла тряпкой то, что тёрла. Движение было быстрым и очень уверенным: так делают не в первый раз.

— Доброго, — сказала она, не поднимая глаз. — Барышня.

— Ты здесь давно служишь?

— Недавно. — Тряпка прошла по камню ещё раз, словно сама собой. — С осени.

— А до тебя кто тёр этот пол?

— Не знаю, барышня. Я тут недавно.

Мадлен посмотрела на её руки. Пальцы были красные, распаренные, с трещинами на подушечках, а на левом запястье белел старый ожог — не от воды, а от чего-то, что прилипает к коже и не отпускает. И ещё: у левого мизинца не хватало ногтя. Так бывает у тех, кто много лет таскает тяжёлое за верёвку.

— С осени, — повторила Мадлен. — А пол под тобой вытерт до блеска за сорок лет. Или тут до тебя сорок лет никто не ходил?

Женщина подняла голову. Глаза у неё были светло-серые, как остывший пепел, и в них не было ни страха, ни подострастия — только усталость человека, которого уже давно ничем не удивить.

— Тут много кто ходил, — сказала она. — Тут все ходят.

— Что ты терла?

— Вино. Пролили.

Мадлен присела на корточки — платье натянулось, шерсть кольнула колени — и вдохнула. Уксус, крепкий, злой, разъедающий ноздри; под уксусом — камень, мокрая известь, старое мыло. И ещё что-то, тонкое, железистое, что не перебивалось ни уксусом, ни мылом, потому что оно уже вьелось в поры камня и останется там, пока камень не сменят.

— Вино так не пахнет, — сказала Мадлен.

— Как уж пахнет, — ответила женщина и снова принялась тереть, и в этом «как уж пахнет» было больше упрямства, чем во всех её предыдущих словах.

Мадлен не стала настаивать. Она поднялась, отряхнула колени и пошла дальше, но, отойдя на несколько шагов, обернулась. Женщина всё ещё терла — круг за кругом, в одном и том же месте, — и тряпка в её руке двигалась так, как двигается рука, которая делает это каждое утро уже много лет.

За её спиной, на каменной стене, в косом свете из окна, Мадлен разглядела тёмное пятно — не на полу, а на штукатурке, у самого плинтуса. Пятно было смыто, но не до конца: штукатурка в этом месте вздулась пузырьком и отслоилась, как обожжённая кожа. Так ведёт себя известь, если её долго нагревать.

— Третья дверь налево, — сказала Мадлен себе под нос и пошла считать.

Первая заперта, вторая заперта, третья приоткрыта.

За ней оказалась комната, от которой перехватило дыхание. Не от ужаса — от восторга, который она до сих пор считала невозможным для такого места.

Библиотека была огромной. Круглой, как башня, уходящей вверх на несколько этажей, с галереями, опоясывающими её по спирали. Книги стояли от пола до потолка: тысячи, десятки тысяч томов в кожаных переплётах, некоторые старше Парижа. Мадлен, прожившая полжизни в библиотеке Института тайн, никогда не видела такого собрания. Здесь были книги на латыни, на греческом, на арабском, на иврите; были фолианты в человеческой коже — она узнала её по мелкой пористости и по тому, как она лоснится в местах, где её держали пальцами; были рукописи, написанные неизвестными письменами, от которых у неё, как у всякого архивариуса, чесались руки.

Пахло кожей, пылью, остывшим воском и той особенной сухой горечью, какая стоит в комнатах, где много бумаги и мало людей. Свет падал сверху, из светового колодца, и в нём медленно ходили пылинки — не хаотично, а кругами, как рыба в пруду.

В центре, под колодцем, стоял большой дубовый стол, заваленный свитками. Над ним, склонившись, работала Катрин.

На этот раз она выглядела иначе. Вместо чёрного облегающего платья — простое шерстяное, тёмно-зелёное, с длинными рукавами. Волосы убраны в строгий узел. Никаких драгоценностей, никакой косметики — и руки без колец, без перстней, без единого металла, если не считать металлом кончик пера.

Вылитая библиотекарша. Если не считать того, что эта библиотекарша могла выпить человека досуха и потом аккуратно поставить его на место.

— А, — Катрин подняла голову и улыбнулась. — Выспалась?

— Не особенно. Кто-то играл на скрипке всю ночь.

— Это была я. Скрипка — моё хобби. Прости, если мешала: когда играю, время для меня останавливается.

— Оно для вас и так, полагаю, почти всегда стоит на месте.

Катрин отложила перо и посмотрела на неё с интересом. На среднем пальце у неё было чернильное пятно — старое, въевшееся в кожу, из тех, что остаются на годы, — и Мадлен отметила это так же машинально, как отметила отсутствие колец: чернила въедаются только в живую кожу и только если человек пишет каждый день.

— Остро. Мне нравится. Садись.

Мадлен села напротив, положив руки на стол. Шпилька осталась в волосах — на расстоянии вытянутой руки. Она заметила, как Катрин проследила взглядом за её рукой, потянувшейся к волосам, и едва заметно усмехнулась, но ничего не сказала.

— Ты сказала вчера, что покажешь, откуда всё началось. — Мадлен кивнула на гору свитков. — Это и есть начало?

— Это всё, что осталось от её жизни. — Катрин развернула один из свитков, и по столу, вздымая пыль, поползла карта. — Марии де Монброн. Твоей прабабки.

Карта была старой. Очень старой: выцветшие линии, выцветшие названия, выцветшие пятна, где вода когда-то размывала чернила. Бретань узнавалась, Прованс узнавался, Париж лежал внизу, как паук в центре паутины. Но между ними были земли, которых на современных картах не было: леса, которых больше не существовало, реки, давно пересохшие, замки, от которых не осталось и следа.

Мадлен смотрела на карту, а видела не линии и названия, а призрак женщины, изменившей судьбу её рода. О Марии она знала лишь то, что рассказывал отец, — редкие обрывки, пересказанные ему его отцом, и те вперемешку со слухами.

— Можно? — спросила она и, не дожидаясь ответа, придвинула карту к свету.

Первое, что она сделала, — не стала искать замок. Она стала искать, чем карта пахнет. Старый пергамент пахнет пылью и кожей; этот пахнул ещё и воском, и чужим табаком, и — совсем слабо — лавандой. А потом она перевернула карту и посмотрела на обороте, у края, где пергамент утолщается и заворачивается в рулон: там, в тёмной кайме, стояли две свежие отметины.

Первая — маленькая лилия, нарисованная уверенно, одним движением, как ставят точку в конце фразы. Вторая — линия. Тонкая, ломаная, она шла от Парижа на запад, к морю, огибала пятно, где берег был размыт, и упиралась в точку на скале. В точке стоял крестик — не тот, каким помечают церкви, а простой, торопливый, каким помечают «здесь».

Чернила лилии были свежими. Мадлен узнала бы этот оттенок где угодно: желчь, железо и та самая рыжина, которая проступает, пока чернила не впитались. Такими же были чернила на записке, лежавшей утром на столике.

А линия была нарисована другими чернилами и другой рукой. Она шла неровно, с нажимом, который то усиливался, то пропадал, — и в одном месте, там, где линия огибала размытое пятно, перо сорвалось и оставило короткий смазанный хвост. Мадлен знала этот хвост. Она видела его тысячу раз на полях отцовских бумаг: левша, ведя перо справа налево по дуге, задевает написанное ребром ладони.

Она положила карту на стол и некоторое время молчала, глядя на лилию.

— Ты сказала «всё, что осталось от её жизни», — проговорила она наконец. — Но карту кто-то держал в руках недавно. Лилия — свежая. Чернила — те же, что в записке, которую ты оставила мне утром. И маршрут.

— Маршрут? — Катрин подошла ближе и взглянула на оборот, и в её лице не дрогнуло ничего, ни одна жилка, — и именно это сказало Мадлен больше, чем сказало бы удивление.

— От Парижа до этой скалы. С остановками. Вот здесь, — палец Мадлен ткнул в маленький кружок у излучины реки, — он ночевал. Здесь, — ещё один кружок, — менял лошадей. А здесь, — она коснулась точки у моря, — остановился и поставил крестик.

— Ты читаешь линии, как почерк.

— Я читаю почерк, как линии. — Мадлен подняла глаза. — Эту линию вела левая рука. Мой отец был левшой.

Катрин не ответила сразу. Она отошла к окну и постояла там, спиной, — и Мадлен впервые заметила, как она стоит: не прямо, а чуть склонив голову набок, будто прислушиваясь к чему-то за стеклом, к океану или к собственному прошлому.

— Он был здесь, — сказала Мадлен. — Не только в Ватикане. Он был здесь, на этой скале, и рисовал этот маршрут.

— Был, — сказала Катрин, не оборачиваясь. — Однажды. Две осени назад.

— Ты мне об этом не сказала.

— Ты не спросила. — Катрин повернулась, и лицо у неё было спокойное, ровное, как вода в бассейне. — Я рассказываю то, о чём меня спрашивают, Мадлен. Иначе я рассказывала бы тебе свою жизнь пятьсот лет подряд, и ты умерла бы от старости на середине.

— Это удобное правило.

— Это единственное правило, которое позволяет мне разговаривать с людьми.

Мадлен взяла шпильку из волос, повертела её в пальцах — серебро холодило кожу — и заколола обратно. Она чувствовала, как в ней поднимается злость: не горячая, а холодная, собранная, того сорта, который в Институте называли «архивной яростью» и который заставлял её по двенадцать часов сверять описи, пока не находилась недостающая страница.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда я буду спрашивать. Что ты о ней знаешь?

— Всё, что осталось. — Катрин села напротив. — Спрашивай по порядку.

— Порядок у меня будет свой. — Мадлен развернула карту лицом к себе и положила ладони по краям, как кладут руки на документ, который собираются допрашивать. — Три предложения, которые я знаю: она жила в шестнадцатом веке, её обвинили в колдовстве, её сожгли. Начнём с третьего.

— Сожгли, — согласилась Катрин, и в голосе её послышалась горечь, старая, как вино, которое давно перестояло. — Но не за колдовство. Её сожгли за то, что она любила. И за то, что отказалась предать эту любовь. Она могла спастись: назвать Адриана дьяволом, покаяться, получить отпущение и уехать в провинцию рожать детей скучному человеку. Ей предлагали это. Несколько раз. Она выбрала огонь. Предпочла смерть — но не предательство.

— Ты видела это? — тихо спросила Мадлен.

— Я держала её за руку, когда она горела. — Катрин произнесла это так спокойно, что Мадлен не сразу осознала смысл. — Она не кричала. Смотрела на меня и улыбалась. И шептала: «Я люблю его. Я люблю его. Я люблю...» Пламя было высоким. Красным. Красивым. Я стояла в толпе и не могла ничем помочь: в городе было полно охотников, и одно движение — и на костёр пошли бы двое. Я могла обратить её до казни, сделать неуязвимой для огня. Она не позволила. Сказала, что не хочет вечности, в которой будет помнить, как сгорел Адриан.

Мадлен молчала. Слова Катрин висели в воздухе, тяжёлые, как мокрый снег. Она поставила эту картину — не глазами, а кожей: жар, который сначала кажется солнечным, потом перестаёт быть солнечным; запах, от которого хочется отвернуться и от которого нельзя отвернуться; женщина в белом, которая не кричит, не молит о пощаде — просто улыбается и шепчет имя любимого.

— А Адриан? — спросила она. — Где он был в этот момент?

— Мёртв. — Катрин отвела взгляд впервые за весь разговор. — Я убила его за неделю до казни. Задушила серебряной цепью, пока он спал. Это был единственный способ спасти его от того, что должно было случиться: инквизиция пытала бы его месяцами — веками, учитывая,

что вампира не так просто убить. Он был бы для них вечным источником «экспериментов». — Она помолчала. — Я думала, что убила его навсегда. Как видишь, ошиблась. Он вернулся. Он всегда возвращается.

— Чёрт возьми, — сказала Мадлен, глядя в пустоту. — Я думала, моя семья — это охотники за правдой. Архивариусы. Хранители. А оказалось — цепь проклятых женщин, которые любили монстров.

— Твой отец не был монстром, — тихо сказала Катрин. — Он был человеком, который нёс слишком тяжёлую ношу. Он знал эту историю. Знал, что рано или поздно ты придёшь к разгадке. И оставил тебе карту, ключи, подсказки. Манускрипт, который ты нашла в Париже, он сам положил в тайник за два дня до смерти. Он хотел, чтобы ты докопалась до истины. Сама.

Мадлен почувствовала, как внутри что-то переворачивается. Она опустила глаза, чтобы скрыть слёзы, и молча кивнула. Слёзы были не о Марии и не о Катрин; они были о том, как отец, за два дня до смерти, стоял в их парижской квартире, среди книг, и прятал манускрипт в тайник в стене — и знал, что не увидит, как она его найдёт.

Катрин, видя её состояние, развернула следующий пергамент — старинное письмо на французском, написанное торопливым, нервным почерком, в котором Мадлен с удивлением узнала наклон пера самой Катрин.

— Я переписала его для тебя. Оригинал настолько ветхий, что рассыплется от прикосновения. Читай.

Мадлен взяла лист. Бумага была плотной, с водяными знаками, которых она не знала: три переплетённых кольца с короной сверху. Первое, что она почувствовала, было не страх и не удивление, а странная щемящая грусть. Слова, написанные почти четыреста лет назад, звучали так, будто их сказали вчера вечером за соседним столом.

Она заметила, где на листе лежит тень, и поднесла его к световому колодцу. Бумага была неровной: в одном месте её когда-то сложили вчетверо, и сгибы остались, как шрамы. А в верхнем углу темнело пятно воска — тёмного, почти чёрного, с оттиском, который нельзя было разобрать. Печать сломали. Сломали давно: воск успел затвердеть заново и потрескался по краю.

«Анна, сестра моя!

Если ты читаешь это, значит, я не успела сказать тебе правду при жизни. Прости меня. Я уйду в ночь не по своей воле и не по воле дьявола, как шепчут в городе. Я уйду потому, что полюбила существо, которое не принадлежит миру живых, и любовь моя оказалась сильнее страха.

Он пришёл ко мне в замок прошлой осенью. Ты помнишь ту бурю? Ту ночь, когда молния ударила в башню и весь город говорил, что это знамение? Ты помнишь, как мы сидели в большой зале, прижавшись друг к другу, ты читала молитву, а я смотрела в окно? Тогда я впервые увидела его: он стоял под моим окном, промокший до нитки, и смотрел на меня так, будто ждал этого мгновения всю жизнь. Не знаю, сколько он простоял. Может быть, час. Может быть, вечность. Когда буря стихла, его не было. Но на подоконнике осталась роза. Чёрная. Я храню её до сих пор.

Его зовут Адриан. Он не человек — точнее, не совсем человек. Он рассказал мне правду в ночь нашей свадьбы, когда я настояла: никакой лжи между нами. Он родился в 1348 году, в год чёрной смерти, в маленькой деревне, которую чума стёрла с лица земли за неделю. Он умер от чумы в шестнадцать лет — и восстал, потому что странник, умиравший рядом с ним, отдал ему свою кровь в обмен на обещание.

Я не знаю, что за обещание он дал тому страннику. Адриан никогда не рассказывал, и я не настаивала: у каждого есть свои тени. Но я знаю, что в нём нет зла. Его руки не запятнаны убийством: он пьёт кровь животных, а от людей старается держаться как можно дальше. Он говорит, что человеческая кровь слишком сладкая. Что если он попробует её однажды, то не

сможет остановиться. Он боится себя. Он боится того, чем может стать, если потеряет контроль. И я боюсь вместе с ним.

Я знаю, сестра: это звучит как безумие. Как бред обезумевшей женщины. Но я здорова. Я проверяла себя: читала молитвы, постилась, исповедовалась. Мой духовник, отец Жан, сказал мне: «Дочь моя, дьявол не может коснуться души, в которой живёт истинная любовь. Если то, что ты чувствуешь, — любовь, то она от Бога. А если от Бога — она не может быть злом». И я знаю: моя любовь от Бога. Потому что она чиста. Потому что она делает меня лучше. Потому что я готова умереть за него — и вместе с ним, если такова будет воля.

Но я не хочу умирать. Я хочу жить с ним. Всегда. Я хочу, чтобы его вечность стала моей вечностью. Я хочу состариться рядом с ним — если он состарится. Я хочу, чтобы наши дети знали, что их родители любили друг друга так, как бывает только в легендах.

Я написала это письмо и запечатала воском с печатью нашего рода, потому что знаю: если со мной что-то случится, ты будешь единственной, кто поверит. Храни это письмо. И если у тебя когда-нибудь родится дочь — расскажи ей обо мне. Расскажи, что я любила. Что я была счастлива. И что я выбрала свою судьбу сама.

Твоя любящая сестра,
Мария»

Мадлен дочитала и долго сидела, не поднимая глаз. Слова Марии звучали в голове, как набат. Они были написаны почти четыреста лет назад — и казались такими свежими, будто Мария только что вырвала страницу из дневника и протянула ей через стол, ещё тёплую от руки.

А потом она сделала то, что делала со всеми документами, которые её трогали: перестала им верить.

— У тебя есть перо и бумага? — спросила она.

Катрин подняла бровь, но подвинула ей лист и чернильницу. Мадлен взяла перо, попробовала кончик о ноготь — остриё было срезано по-писарски, косо, — и стала писать, проговаривая вслух, потому что вслух мысль проверяется строже, чем про себя.

— Первое. Он родился в тысяча триста сорок восьмом, умер в шестнадцать лет. Значит, восстал в тысяча триста шестьдесят четвёртом. Это мы запишем, потому что годы — единственное, чего нельзя переписать задним числом. Годы оставляют следы в бумагах: в приходах, в налогах, в чумных списках.

— Ты собираешься проверять мою исповедь по приходским книгам? — спросила Катрин.

— Я собираюсь проверить всё, что можно проверить, и запомнить всё, что нельзя. — Мадлен поставила под первым пунктом короткую черту. — Второе. Ты говоришь, что переписала письмо, потому что оригинал рассыплется. Но у копии сломанная печать и старый воск. Если переписывали набело, зачем ломать печать?

— Чтобы прочесть.

— Печать ломают один раз, когда вскрывают письмо. Ты держала его в руках четыреста лет и не вскрывала?

Катрин чуть склонила голову — жест, который Мадлен уже начинала узнавать: так она отступала на шаг, чтобы не отвечать прямо.

— Я вскрыла его в ту ночь, когда получила, — сказала она. — И потом сто раз перечитывала. Воск не восстанавливается.

— Хорошо. — Мадлен записала и это, коротко, без нажима. — Третье. В письме сказано: «он пришёл ко мне прошлой осенью», и сказано о свадьбе, о ночи, когда он открыл ей правду. Значит, письмо написано не раньше первого года их брака. Дальше. — Она подняла перо. — Здесь написано: «Я хочу, чтобы наши дети знали». Дети. Во множественном числе, в будущем времени. Значит, детей ещё нет.

— Не было, — сказала Катрин. — Валентина родилась через год.

— Прекрасно. — Мадлен поставила галочку и вдруг остановилась, потому что в голове у неё что-то щёлкнуло, как замок, в который попал ключ с третьей попытки. — А теперь ты расскажи мне порядок событий. Медленно. Ты сказала: она родила Валентину, чуть не умерла, Адриан дал ей кровь, она изменилась, ушла, вернулась через двадцать лет — без него, почти без памяти, — написала книгу. И потом её сожгли.

— Да.

— И ты держала её за руку на костре.

— Да.

— И Адриана ты убила за неделю до казни.

— Да.

Мадлен положила перо. Оно стукнуло о край чернильницы, и на белой бумаге расплылась клякса — маленькая, аккуратная, как чей-то глаз.

— Тогда письмо не сходится, — сказала она. — Оно написано до рождения Валентины. А сожгли Марию через двадцать лет после того, как она ушла, — то есть через двадцать один год, не меньше, после того, как это письмо легло на стол. И всё это время она была жива, и всё это время письмо ждало. Но оно написано как прощание. «Я уйду в ночь». «Если со мной что-то случится». Так не пишут за двадцать лет до смерти. Так пишут за день.

В библиотеке стало очень тихо. Пылинки в световом колодце всё так же ходили кругами, и где-то наверху, в галерее, тихо скрипнуло дерево — так скрипит разошедшийся стеллаж, когда по галерее идут.

Катрин смотрела на неё долго и внимательно, и в этом взгляде было что-то, чего Мадлен ещё не видела: не насмешка и не холод, а осторожное, почти уважительное удивление.

— Ты действительно его дочь, — сказала она наконец.

— Я задала вопрос.

— Ты задала три. — Катрин поднялась и прошла вдоль стола, касаясь корешков кончиками пальцев, как касаются клавиш. — И ты права в одном: письмо не сходится с тем порядком, в котором я тебе его рассказала.

— Значит, порядок неверен.

— Значит, порядок сложнее, чем порядок. — Катрин остановилась. — Я рассказывала тебе не хронику, Мадлен. Я рассказывала то, что осталось от женщины, которую я любила, в том виде, в каком это можно вынести. Хроника лежит в камне. Если хочешь хронику — иди к камню.

— В склеп.

— В склеп. — Катрин посмотрела на неё в упор. — Там её имя и её годы. И там её книга. И, может быть, там ты найдёшь то, чего я тебе не расскажу, потому что не умею.

Мадлен взяла лист, на котором писала, сложила его вчетверо и сунула за корсаж — там, где метка «M. de M.» грела кожу сквозь подкладку. Она заметила, что Катрин проследила за этим движением, и что в её лице опять ничего не дрогнуло, — и поняла, что самое важное она узнает не из ответов, а из того, о чём Катрин молчит слишком старательно.

— Прежде чем я спущусь, — сказала она, — ответь на один вопрос, который не про Марию. Почему у меня на запястье след от печати?

Катрин взяла её руку — быстро, но не грубо, и пальцы у неё были холодные, сухие, чуть шершавые на подушечках, как у человека, который много держит бумагу. Она повернула запястье к свету, и Мадлен почувствовала, как от этого прикосновения по руке пошли мурашки — не от страха, а от той простой, неуместной, злой радости, с какой тело отзывается на прикосновение, которого не просило.

— Это не печать, — сказала Катрин. — Это пряжка. У тебя на рукаве была пряжка, и кто-то держал тебя очень крепко.

— Пряжка оставляет две отметины.

— Значит, кто-то держал тебя очень крепко и очень долго. — Катрин отпустила её руку. — Я не несла тебя, Мадлен. Тебя нёс Жак.

Мадлен не сразу нашлась что сказать. Она смотрела на своё запястье, на узкий овал, который теперь казался ей не отметиной, а подписью.

— Жак был здесь?

— Жак был там, где тебя нашли. — Катрин снова села, и в её голосе появилась та сухость, с какой говорят о вещах, которые уже решены. — Он не входил в аббатство. Он передал тебя на руки и ушёл. Он не хочет, чтобы ты видела его до того, как ты сама его позовёшь, — это его условие, не моё.

— Удобно. Мужчина, которого я не помню, ставит условия, как мне с ним знакомиться.

— Он не ставит условий. Он боится. — Катрин усмехнулась, и усмешка вышла невесёлой. — За пятьсот лет я видела, как мужчины боятся по-разному: одни дерутся, другие пьют, третьи пишут стихи. Жак боится деликатно. Это редкая разновидность и, честно говоря, самая утомительная.

Мадлен записала и это — коротко, в столбик, между вторым и третьим пунктом: «пряжка / Жак / не входил». Потом посмотрела на свой список и вдруг увидела его со стороны: четыре строки, клякса, косые буквы — и вся её жизнь, разложенная на четыре строки, в доме, где никто не отвечает прямо.

— Я хочу посмотреть аббатство, — сказала она. — Прежде чем склеп. Мне нужно подышать воздухом, иначе голова лопнет.

Катрин встала и одёрнула рукав — движение простое, домашнее, от которого она вдруг стала похожа не на вековую хозяйку замка, а на женщину, которая собирается показать госте сад.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда идём. Аббатство большое. Заодно расскажу, где здесь кладбище и где обрыв, куда сбрасывать тела. На всякий случай.

— Ты шутишь?

— Шучу. Про кладбище. — Катрин обернулась в дверях, и в глазах у неё мелькнула усмешка. — Обрыв настоящий. Очень живописный.

Галерея, опоясывавшая аббатство, оказалась узкой, с каменными перилами, вытертыми до блеска руками и одеждой бесчисленных монахов. Ветер ударил в лицо сразу, как только дверь открылась, — сырой, солёный, с той крупной солью, которая оседает на губах и потом долго чувствуется на языке. Мадлен вдохнула и на секунду зажмурилась.

Океан с высоты казался ещё более бескрайним, чем с берега. Он лежал до горизонта, серый, в мелких барашках, и у скал внизу кипел белым, как молоко, которое вылили в кипяток. Чайки кричали, ныряли за рыбой, и ветер нёс их крики куда-то в сторону Англии, невидимой за горизонтом.

— Красиво, правда? — раздался голос за спиной.

Мадлен не обернулась. Она знала, что Катрин подойдёт. Знала так же точно, как знала, что сегодня всё равно спустится в склеп, что бы ни говорил рассудок.

— Очень. — Она обвела рукой горизонт. — Если не думать о том, что где-то там, внизу, лежат кости моей прабабки и что она, возможно, до сих пор не упокоилась.

— Не упокоилась. — Катрин встала рядом, опираясь на перила. — Мария никогда не искала покоя. Она искала любовь. В этом и была её трагедия: она нашла её и не сумела удержать так, чтобы не разрушить всё вокруг.

Камень перил под ладонью был холодным и шершавым, с выбоинами, которые отполировало время. Мадлен провела по нему пальцем и почувствовала, как под ногтем осталась серая пыль, — и подумала, что за пятьсот лет по этим перилам прошло столько рук, что камень стёрся до формы руки.

— Ты сказала, что я проспала двенадцать часов, — проговорила она, глядя на воду. — В записке.

— Сказала.

— Свет в моём окне был вечерним. Окно смотрит на закат: полоса на подоконнике выбелена солнцем, которое входит низко, с моря. Я проснулась не утром.

Пауза длилась ровно столько, сколько нужно, чтобы волна внизу добежала до скалы и разбилась.

— Двадцать шесть часов, — сказала Катрин. — Может быть, двадцать семь. Я не считала точно.

— Ты соврала.

— Я округлила.

— В какую сторону? — Мадлен повернулась. — Ты округлила в ту сторону, в которую тебе было нужно. Зачем?

Катрин не сразу ответила. Она смотрела на океан, и ветер трепал выбившуюся прядь у её виска — тёмную, без единой седины, и это было неправильно, потому что глаза у неё были старше, чем лицо, и старше, чем руки, и старше, чем всё, что Мадлен видела в этом аббатстве.

— Потому что ты думаешь, что у тебя есть время, — сказала она. — Люди, у которых есть время, думают медленно и хорошо. Люди, у которых его нет, думают быстро и плохо. Мне нужно, чтобы ты думала быстро. И я не хотела, чтобы ты начала с того, что будешь считать часы вместо того, чтобы считать факты.

— Значит, ты решила посчитать за меня.

— Я решила, что двенадцать часов звучит милосерднее, чем двадцать шесть. — Катрин усмехнулась краем рта. — И, как видишь, просчиталась: ты из тех, кто проверяет по солнцу.

Мадлен отвернулась к воде. Внутри у неё было холодно и ясно, как бывает в комнате, из которой вынесли всю мебель: и злость, и страх, и обида остались где-то за дверью, а здесь были только факты, разложенные по порядку.

— Я запишу это, — сказала она. — «Первое: мне соврали о времени. Мотив — торопить». И буду помнить, что ты торопишь.

— Записывай, — согласилась Катрин. — Только запиши до конца: я тороплю не потому, что хочу тебе зла. Я тороплю потому, что Жак не умеет ждать, а ты умеешь передумать.

— А ты умеешь не отвечать.

— Я умею очень многое. — Катрин повернулась к ней, и на секунду в её лице появилось что-то похожее на усталость, настоящую, тяжёлую, как мокрая шерсть. — Спроси то, что хочешь спросить, Мадлен. Пока мы наверху. Наверху отвечать легче.

— Хорошо. — Мадлен положила локти на перила, и камень сквозь шерсть платья холодил предплечья. — Почему ты так много об этом знаешь? Не о Марии. О нём. О том, что он боялся себя, что пил кровь животных, что человеческая кровь для него слишком сладкая. Так не рассказывают о чужом муже. Так рассказывают о брате.

Ветер налетел, рванул подол, швырнул в лицо горсть солёных брызг. Катрин стояла неподвижно, и её платье не шевелилось так, как должно было шевелиться, — тяжёлая шерсть прилипла к ногам, будто ветер не имел над ней той власти, какую имеет над всем остальным.

— Потому что он был моим братом, — сказала она. — Младшим. Я любила его больше жизни — и, что хуже, больше, чем следовало.

Мадлен молчала. Где-то внизу кричала чайка, и крик её был похож на смех.

— Мы родились в одной деревне, — продолжала Катрин. — В той самой, которую чума стёрла за неделю. Я была старше на четыре года. Когда он заболел, я вынесла его из дома на руках и положила под оливой, потому что в доме уже нечем было дышать. Я сидела рядом и держала его за руку, пока он не перестал дышать. Мне было двадцать. — Она помолчала. —

Потом я ушла. Взяла его имя, его долю, его место в мире — и ушла искать способ вернуть его. И нашла. Только вернула не брата, а то, что от брата осталось.

— Он не помнил тебя?

— Он помнил всё. — Катрин улыбнулась, и улыбка была страшной в своей обыденности. — Он помнил, как я несла его через двор, как у меня дрожали руки, как я говорила ему: «Дыши, слышишь, дыши». Он помнил это лучше, чем я. Он вообще помнит слишком много. Это его проклятие, а не жажда: он помнит каждое лицо, которое видел, и каждое лицо, которое не спас.

Мадлен смотрела на неё и чувствовала, как рушится ещё одна стена — та, о существовании которой она не подозревала. Она привыкла думать о вампирах как об охотниках, о чуме, о ночном ужасе из отчётов Института. А здесь стояла женщина, которая двадцать лет искала способ вернуть младшего брата и нашла его — и с тех пор пятьсот лет сторожила его тайну, как сторожат спящего, которого нельзя будить.

— Ты сказала, что стала тем, чем стала, чтобы защитить его, — проговорила Мадлен. — Значит, ты тоже...

— Тоже, — сказала Катрин. — Только я не боялась. Я, в отличие от Адриана, никогда не боялась того, чем становлюсь. Это, наверное, и есть разница между нами: он боится, а я нет. Поэтому он до сих пор человек, а я — то, что стоит перед тобой.

— И ты убила его. Серебряной цепью, пока он спал.

— И я убила его. — Катрин произнесла это ровно, без пафоса, как называют цену на рынке. — И это было самое честное, что я сделала за пятьсот лет. Он бы не выжил в их руках. Он бы рассказал им всё, что знал, — не от слабости, а оттого, что не умел молчать, когда кричат. А потом его бы убили, и убили бы так, что он бы не вернулся. Серебро — милосердие. Я дала ему умереть быстро.

Мадлен хотела спросить, каково это — держать цепь, — и не спросила. Бывают вопросы, которые задают не для того, чтобы узнать, а чтобы ранить, и она это чувствовала слишком хорошо, чтобы позволить себе такую роскошь.

— А Мария? — спросила она вместо этого. — Она знала, что ты его сестра?

— Знала. — Катрин посмотрела на воду. — Она называла меня «сестра» задолго до того, как узнала, что это правда. Женщины всегда чувствуют, кто в доме главный, даже если главный старается этого не показывать. Мы с ней были как две половины одного целого, и, в отличие от большинства таких половин, мы это знали.

— И она выбрала его.

— Она выбрала его. — Катрин кивнула. — А я выбрала её. Так и вышло, что мы обе выбрали одно и то же, только с разных сторон.

Мадлен отвернулась к морю и долго смотрела, как волны идут одна за другой, ровные, как строки в хорошо переписанной книге. Потом сказала то, что думала:

— Ты рассказываешь мне историю, в которой ты всех любила и всех потеряла. И в этой истории ты ни разу не сказала, чего хочешь ты.

Катрин не ответила.

— Ты хочешь, чтобы я спустилась в склеп, — продолжала Мадлен. — Ты хочешь, чтобы я прочла книгу. Ты хочешь, чтобы я выбрала. Но ты ни разу не сказала, что получишь, если я выберу так, как тебе нужно.

— А если я скажу, что ничего?

— Тогда я запишу и это, — сказала Мадлен, — и буду знать, что ты врешь второй раз за утро.

Катрин засмеялась — коротко, неожиданно, почти по-человечески, — и от этого смеха у Мадлен по спине прошёл холодок, потому что смех был искренним.

— Хорошо, — сказала Катрин. — Я скажу. Но не сейчас. Не наверху. — Она оттолкнулась от перил. — Идём. Я покажу тебе, откуда начинается дорога вниз, и расскажу про Жака, потому что о Жаке ты должна знать всё до того, как увидишь камень.

— Почему до?

— Потому что камень отвечает только на те вопросы, которые ты принесёшь с собой.

Они прошли через галерею к северному крылу, и по дороге Катрин говорила — ровно, деловито, как говорят о наследстве, о долгах, о вещах, которые нужно привести в порядок до зимы. Мадлен слушала и считала.

— Жак де Борегар — потомок Валентины по другой линии, — сказала Катрин. — Валентина вышла замуж за барона де Борегара. Род Борегаров — единственная ветвь вашего древа, где до сих пор жива кровь Марии.

— То есть я и он — родня.

— Двоюродные в двадцатом колене. — Катрин усмехнулась. — Не то чтобы это что-то значило для брака. В вашем роду никогда не смотрели на такие мелочи.

— В каком смысле «в вашем»?

— В том, что Монброны женятся на тех, кого любят, и потом удивляются, почему в каждом поколении рождается кто-то с жаждой.

Мадлен остановилась.

— В каждом поколении?

— Не в каждом. — Катрин тоже остановилась и повернулась к ней. — Раз в поколение. Жажда просыпается в ком-то одном: в тебе, в Жаке, в твоей бабке, в её тётке. Иногда она спит так глубоко, что её принимают за характер: человек просто любит сырое мясо, плохо спит, видит яркие сны и рано умирает. А иногда она просыпается по-настоящему.

— И что значит «по-настоящему»?

— Значит, что человек начинает чувствовать чужую кровь на расстоянии. — Катрин сказала это просто. — Как ты чувствуешь запах дыма, когда горит дом за квартал. Сначала это приятно. Потом это необходимо. Потом это всё.

Мадлен подумала о себе: о том, как последние две недели её тянуло к сырому мясу, как она ловила себя на том, что смотрит на шею булочника, на изгиб, где кожа тоньше всего, и потом долго не может понять, почему ей хочется есть и тошнит одновременно. Она думала, что это нервы. Нервы объясняют всё, пока не встретишь человека, который скажет тебе правду.

— У Жака это проявилось иначе, — продолжала Катрин. — Он не чувствует кровь. Он видит сны.

— Сны о женщине с алыми губами. — Мадлен сказала это медленно, потому что слова вдруг стали тяжёлыми. — Моро говорил, он ищет её по всей Франции.

— Он ищет тебя. Просто не знает об этом. — Катрин провела пальцем по воздуху, будто по линии древа, которой здесь не было. — Жажда в нём исказилась: вместо голода она дала ему наваждение. Он будет искать эту женщину до конца своих дней, пока не найдёт. А когда найдёт — попытается сделать своей.

— Что значит «сделать своей»?

Катрин посмотрела на неё долгим, тёмным взглядом.

— Обратить. Сделать такой же, как он сам. Потому что только два существа одной крови могут разделить вечность: только так жажда одного утоляется жадой другого. Это не романтично, Мадлен. Это физиология, у которой, к сожалению, очень красивые метафоры.

Мадлен почувствовала, как стянуло кожу на затылке и во рту стало сухо, будто она наглоталась пыли.

— Ты хочешь сказать, что Жак... что он уже один из вас?

— Не совсем. Он наполовину. Жажда в нём не завершила превращение. Если он найдёт «свою женщину» и обратит её — станет полноценным вампиром. Если нет — сойдёт с ума и умрёт. У него не больше года.

— Года, — повторила Мадлен. — А ты сказала, что времени у меня нет.

— У тебя нет. — Катрин посмотрела ей в глаза. — У него есть год. Это разные вещи. Когда человеку остаётся год, он может позволить себе ждать. Когда человеку остаётся год, а он не знает, что делать с этим годом, — он начинает искать, и обычно находит не то, что искал. Жак искал тебя четыре месяца. Он найдёт через неделю. Может быть, через три дня. Может быть, сегодня ночью, если перестанет бояться.

— Он боится меня?

— Он боится того, что сделает, когда увидит. — Катрин отвернулась. — Это, поверь, худший вид страха. Тот, от которого не защищает ни сила, ни возраст, ни оружие.

Они пошли дальше молча. Ветер дул в спину, нёс по камню сухие водоросли и мелкий песок, и песок этот скрипел под подошвами, как толчёное стекло. Мадлен чувствовала, как прохладный воздух остужает разгорячённую голову, как мысли становятся яснее, как страх отступает, уступая место спокойной решимости, — и эта решимость была холодной и твёрдой на ощупь, как камень перил под ладонью.

— Ты нашла покой? — спросила она, не останавливаясь. — За пятьсот лет.

— Я нашла тишину. — Катрин шла рядом, и её шаги были тише, чем следовало быть шагам по камню. — Это не совсем покой, но близко. Когда живёшь так долго, покой становится скучным: в нём нечего делать. А тишина — это передышка. Возможность собраться с мыслями, прежде чем снова окунуться в хаос.

— И часто ты окунаешься?

— Когда он сам меня находит. — Катрин усмехнулась. — Как сейчас.

Они дошли до конца галереи и остановились у поворота, где стена обрывалась, открывая море во всю его длину. Свет был серый, ровный, и в этом свете вода казалась не водой, а полем, по которому кто-то очень большой провёл бороной.

— Я пойду в склеп, — сказала Мадлен.

— Я знаю. — Катрин повернулась к ней. — Просто хотела, чтобы ты увидела этот свет перед тем, как погрузишься во тьму. Чтобы помнила: наверху всегда есть солнце. Даже если ты выбрала ночь.

Мадлен кивнула. Потом сказала то, чего не собиралась говорить:

— Я всё равно буду проверять каждое твоё слово. Даже те, которые мне нравятся.

— Я на это и рассчитываю, — ответила Катрин. — Иначе мне пришлось бы тебя уважать просто так, из вежливости.

Дверь была тут же, в стене, за поворотом: низкая, окованная полосами железа. Катрин толкнула её, и за дверью открылась лестница, уходящая вниз, в темноту, из которой тянуло холодом и мокрым камнем.

— Это короткая дорога, — сказала она. — Сто тридцать семь ступеней. Я всегда считаю, когда спускаюсь: привычка с тех времён, когда лестницы строили на глаз, а не по чертежу.

— Сто тридцать семь, — повторила Мадлен.

— Сто тридцать семь. — Катрин посторонилась. — Возьми лампу. И, Мадлен... — Она помолчала. — Что бы ты там ни нашла, помни: камень не лжёт. Лгут только те, кто его резал.

Мадлен взяла со стола масляную лампу, зажгла фитиль от свечи и шагнула в проём. За спиной у неё закрылась дверь — не хлопнула, а мягко притворилась, как закрывают дверь в комнату, где спит ребёнок.

Она начала считать.

Первая ступень была стёрта посередине, как ступени в домах, где ходят триста лет. Вторая, третья, четвёртая — та же вытертая ложбинка. Стены сходились всё теснее; по ним стекала

вода, и в свете лампы струйки блестели, как змеи, — тонкие, живые, они повторяли изгибы камня и исчезали в щелях. Пахло погребом, известью и той сыростью, которая оседает в лёгких и остаётся там до утра.

На двадцатой ступени Мадлен заметила на стене царапины — не рисунок, а ряд коротких чёрточек, как считают дни в тюрьме. Она остановилась, поднесла лампу ближе. Чёрточки были старые, процарапанные чем-то твёрдым, и шли в два ряда: в верхнем — двенадцать, в нижнем — пять.

Она не стала их трогать. Она запомнила.

На шестьдесят третьей ступени ей показалось, что за спиной кто-то вздохнул. Мадлен замерла, и лампа в её руке качнулась, и тени вокруг качнулись вместе с ней, как вода в ведре. Ничего. Только сквозняк — тот самый, который всегда идёт по лестницам, соединяющим верх и низ.

На девяносто первой ступени она перестала слышать океан. Это было хуже всего: не темнота, не теснота, а тишина, в которой собственное дыхание звучит как чужое.

На сто тридцать седьмой ступени лестница кончилась.

Мадлен стояла на ровном каменном полу и смотрела на дверь — низкую, окованную железом, с ржавым ключом в замочной скважине. Она подняла лампу выше и увидела на двери, у самого верха, глубокую вмятину — такую, какую оставляет сапог, если бить с размаху.

— Сто тридцать семь, — сказала она вслух. — Ровно.

И, повернув ключ, толкнула дверь.

Дверь отворилась со скрипом, от которого заныли зубы, и в лицо пахнуло сухим холодом — не сыростью, как на лестнице, а той сухостью, какая бывает в комнатах, где давно не открывали окон и где воздух успел стать частью камня.

Склеп был небольшим: шагов десять в длину, столько же в ширину. Вдоль стен стояли каменные саркофаги — шесть. На крышке первого было выбито: «МАРИЯ ДЕ МОНБРОН. 1524–1589».

Мадлен подошла и провела пальцем по буквам. Камень был холодным, шершавым, с забившейся в углубления пылью; пыль была серой, тонкой, как тальк, и в ней оставалась светлая борозда от пальца, которая тут же начала бледнеть, будто камень затягивал рану.

Она поднесла лампу ближе и стала читать остальные.

«АННА ДЕ МОНБРОН. 1520–1594».

«ВАЛЕНТИНА ДЕ БОРЕГАР. 1550–1621».

Четвёртая плита была без имени: только крест и две даты, стёртые почти до плоскости. Пятая — с именем «ЖАННА» и без фамилии; буквы были вырезаны грубо, торопливо, как режут, когда рука дрожит.

Шестая крышка была сдвинута.

Не сильно — на палец, на два, — но сдвинута, и в щели между крышкой и корпусом темнела ровная полоса, а на полу перед саркофагом лежала каменная крошка, которую никто не подметал.

Мадлен опустилась на колени и заглянула в щель. Внутри было пусто. Не «пусто, как в могиле, из которой вынесли тело», а пусто, как в ящике, из которого вынули вещь: на дне, в пыли, светлел овал — чистое, ровное пятно, будто там долго стояла коробка или шкатулка, а потом её взяли и унесли.

Она выпрямилась и вытерла пальцы о платье.

— Шесть саркофагов, — сказала она вслух, потому что голос в этом месте был нужен, как свеча. — Четыре имени. Одна плита без имени. Одна пустая.

И тогда первая свеча — та, что стояла в углублении саркофага Марии, — вспыхнула сама собой.

За ней вторая. Третья.

Через несколько секунд весь склеп был залит тёплым дрожащим светом, и Мадлен увидела то, чего не ожидала.

Первым её движением было не отшатнуться, а наклониться. Она наклонилась к ближайшей свече — и увидела то, что видит архивариус, а не монахиня: фитиль был новый. Ровно срезанный, чистый, без нагара, без той чёрной запятой, которая образуется после часа горения. Воск вокруг фитиля был нетронут: ни одной подтёкшей струйки, ни одной капли на камне — а свеча, которая горит здесь год, залила бы камень так, что его пришлось бы скалывать.

Мадлен посмотрела на подсвечник. В углублении лежал песок — свежий, светлый, ровно разглаженный. И пахло от фитиля не воском, а маслом: тем дешёвым ламповым маслом, которым смазывают фитили, чтобы они взялись с одной искры.

Она выпрямилась и обвела взглядом склеп.

— Значит, вот как это делается, — сказала она тихо. — Не чудо. Приготовление.

На крышке саркофага Марии, поверх выбитых букв, лежала книга. Та самая, из Парижа. Или её двойник: та же обложка из чёрной кожи, та же тиснёная лилия, тот же запах крови и роз.

Мадлен протянула руку — и остановилась, не донеся ладони.

Книга была открыта. Открыта на последней странице, той, что в парижском экземпляре была пустой. И лежала она так, как не лежит книга, которую положили сто лет назад: корешок не был сломан. У книги, которую раскрывают до конца, корешок трескается — всегда, в одном и том же месте, у верхней тетради, и трещина эта остаётся навсегда, как морщина. Здесь корешок был цел. Кожа на сгибе была гладкой, будто книгу раскрыли впервые — и раскрыли недавно, и раскрыли осторожно, придерживая листы, чтобы не сломать.

А на странице были буквы.

«Если ты читаешь это, значит, ты мой наследник. Ты чувствуешь жажду. Ты видишь сны. И ты стоишь перед выбором, который когда-то стоял передо мной.

Не слушай тех, кто скажет, что этот выбор — между добром и злом. Он не такой. Он между двумя видами вечности, и обе они будут пахнуть по-разному.

Я выбрала любовь. Я не жалею. Но я знаю: если бы я понимала тогда, что делаю, я приняла бы другое решение.

Ты спросишь: какое?

Я отвечу одной фразой, которую высекли на моём надгробии: «Та, что любила слишком сильно». Это правда. И это предупреждение. Не люби слишком сильно, дитя моё. Ибо любовь — единственная жажда, которую не утолить.

Приходи ко мне ночью, когда луна выйдет из-за туч. Я расскажу тебе то, что не осмелилась написать. И ты решишь, достойна ли наследовать мою участь.

Твоя Мария»

Мадлен читала стоя, а дочитав, села — прямо на холодный пол, не думая о платье, потому что ноги отказались держать её сами.

Буквы плясали в свете свечей. Она смотрела на них и чувствовала, как внутри, в самой глубине, шевельнулось что-то древнее.

Оно было похоже на голод. Но голодом не было.

Оно было похоже на любовь. Но любовью не было.

Оно было тем, что сильнее и того и другого.

Оно было жаждой.

И впервые в жизни Мадлен де Монброн не испугалась её. Не отшатнулась. Позволила ей заполнить себя до краёв — и почувствовала, как становится лёгкой, почти невесомой, будто то, что держало её прикованной к земле все эти годы, наконец отпустило.

Она сидела так, наверное, минуту. Потом моргнула, и мир вернулся — каменный, холодный, с запахом масла и пыли, — и вместе с миром вернулась привычка, которую не вытравишь ни жаждой, ни страхом: привычка проверять.

Мадлен поднялась на колени и поднесла лампу к книге.

Чернила на странице были свежими. Не «свежими» в смысле «хорошо сохранились» — свежими в смысле «ещё блестят». В косом свете лампы буквы отдавали тем же рыжим отливом, что и записка на столике, и та лилия на обороте карты: желчь, железо, немного времени.

Она перевернула книгу и посмотрела на корешок у верхней тетради. Там, между кожей и блоком, белела нитка. Новая. Льяная, светлая, не тронутая пылью, — в отличие от ниток, которые держали остальные тетради и были тёмными, как от всё время копившейся копоти. Кто-то переплетал эту книгу заново. Или, точнее, вшивал в неё лист.

Мадлен закрыла глаза и заставила себя дышать ровно.

— Итак, — сказала она в темноту, и голос её звучал спокойно, почти весело, и это спокойствие было страшнее любого крика. — Меня позвали в склеп, зажгли свечи, положили книгу и открыли её на нужной странице. Всё готово. Всё ждёт. И всё — новое.

Она открыла глаза.

— Меня не обманывают. Меня убеждают. Это разные вещи, и разница между ними — единственное, что у меня сейчас есть.

Свечи горели ровно, и воск не таял так, как тает воск, — не стекал, а словно впитывался обратно в себя. Мадлен смотрела на них и думала о том, что человек, который готовил эту комнату, знал о ней больше, чем она сама: знал, что она сядет на пол, что будет читать до конца, что заплачет. Он (или она) знал даже, в каком порядке она станет проверять — фитиль, песок, корешок.

А потом она подумала о другом, и мысль эта была холодной, как камень под ладонью: если всё здесь приготовлено, значит, приготовлено кем-то, кто умеет ждать. А тот, кто умеет ждать, не станет торопить.

И всё же её торопили. Утром, в записке. Днём, на галерее.

Значит, торопит один, а готовит другой.

Мадлен встала, отряхнула платье — пыль пристала к шерсти серым налётом, и она машинально подумала, что теперь её будут узнавать по этому налёту, как узнают людей по запаху, — и подошла к саркофагу Марии.

— Я приду, — сказала она тихо, обращаясь к камню. — Я приду в полнолуние. И выслушаю тебя.

Свечи потухли все разом, оставив её в темноте.

Не по одной, не с шипением, как гаснут свечи от сквозняка, — все сразу, как будто кто-то накрыл склеп ладонью. Мадлен стояла в чёрной, густой, почти осязаемой темноте, и слышала только собственное дыхание и стук крови в ушах.

Но она не испугалась. Потому что тьма, которая раньше пугала, теперь казалась ей домом.

Лампа ещё горела — слабо, притушенно, но горела, и Мадлен, поднеся её к полу, увидела то, что не увидела, когда входила.

У самой двери, на пороге, камень был вытерт иначе, чем в остальном склепе. Не ложбинкой, как ступени, а полосой — длинной, узкой, идущей от порога к саркофагу Марии и обратно. Так вытирают пол, когда по нему ходят в одном и том же направлении много лет: ногами, а не тряпкой.

Она поставила лампу на пол и пошла по полосе, наклонившись, как идут по следу. Полоса довела её до саркофага, обогнула его и ушла в стену — точнее, к стене, где между двумя плитами кладки темнела щель шириной в ладонь.

Мадлен приложила к щели ладонь. Оттуда тянуло холодом и — очень слабо — сквозняком. Не застоявшимся воздухом склепа, а движением воздуха: где-то там, за кладкой, было пространство, в которое этот воздух уходил.

— Вот ты где, — сказала она.

Она не стала ничего трогать. Она поднялась, взяла лампу и пошла к двери, и на пороге обернулась, чтобы запомнить: полоса, щель, шестой саркофаг, свежие нитки, чистое пятно в пыли.

Пять вещей. Пять вещей, которые не расскажет ни одна книга.

Она начала подниматься.

Ступени считались легче, чем вниз, — или это усталость делала их короче. Мадлен шла и считала, и на двадцатой снова увидела царапины: двенадцать чёрточек в верхнем ряду, пять в нижнем. Теперь, при свете лампы, она разглядела, что чёрточки процарапаны не подряд, а с промежутками, и что между двенадцатой и первой есть глубокая точка — как будто считавший сбился и начал заново.

На шестьдесят третьей ступени она остановилась и потрогала стену. Здесь было холоднее, чем на остальных, и камень был другой: не гладкий тёсанный, а колотый, с крупными зёрнами, какие бывают у породы, которую добывали в другом месте. Кто-то заделал здесь проём. Заделал давно, но не так давно, как построили лестницу: шов был виден, если смотреть вдоль стены, прижавшись щекой к камню.

Мадлен прижалась щекой к камню и посмотрела вдоль шва.

— Ага, — сказала она. — Вот ты где.

Наверху, в конце лестницы, её ждала дверь. Мадлен толкнула её и вышла в галерею, и ветер ударил в лицо так, что она на секунду задохнулась, — сырой, солёный, живой. Она стояла, держась за косяк, и дышала, и соль оседала на губах, и это было лучшее, что она чувствовала за весь день.

Внизу, под скалой, волны бились о камень с ровным гулом. Где-то кричали чайки.

Мадлен посмотрела на свою руку. На пальцах осталась серая пыль, и в пыли — тонкая светлая полоска, след от нитки. Она стёрла её о платье и пошла в библиотеку.

Катрин стояла у окна. Плечи напряжены, пальцы сжимают подоконник так, что побелели костяшки. Она не обернулась на звук шагов, но Мадлен знала, что та слышит каждое её движение.

— Ты видела её книгу, — сказала Катрин тихо.

Не вопрос.

— Да.

— И поняла, чего она от тебя хочет?

— Кажется, да.

Катрин повернулась. В её глазах, обычно насмешливых и холодных, была странная смесь тревоги и надежды — так смотрят люди, которые ждали чего-то пятьсот лет и теперь боятся, что всё пойдёт не так.

— Мария хочет, чтобы ты завершила то, что она не смогла. Разорвала круг. Но она не сказала главного: чтобы разорвать круг, ты должна пройти через обращение. Стать одной из нас. Добровольно. С открытыми глазами. Только тогда проклятие твоего рода остановится. Если же ты станешь вампиром против воли или в порыве страха — проклятие продолжится. И перейдёт на твоих детей, если они будут.

У неё остыли пальцы.

— А если я не стану вампиром?

— Тогда проклятие остановится само — но только с твоей смертью. Жажда умрёт вместе с тобой. — Катрин помолчала. — А Жак не доживёт до твоей старости. Его жажда сведёт его с ума через год. Меньше, если он кого-нибудь убьёт.

— А если он кого-нибудь убьёт?

— Тогда его обратит не любовь, а убийство. И он станет полноценным вампиром — но без души, без способности любить. Просто голод в человеческой форме. Он будет охотиться, пока кто-нибудь его не остановит. — Она сделала паузу. — Возможно, ты.

Мадлен смотрела в окно на океан. Волны бились о скалы с ровным, успокаивающим гулом. Где-то кричали чайки. Мир был таким обычным, таким спокойным — и таким нереальным.

— Ты сказала, он видит меня во сне. Почему именно меня?

— Потому что вы — две половины одного целого. Жажда в нём и жажда в тебе — одна и та же жажда. Разделённая. Она тянется друг к другу, как две капли ртути. Когда вы встретитесь, она воссоединится. И тогда вы оба станете либо спасёнными, либо проклятыми. Зависит от выбора.

— Я даже не знаю его.

— Ты знаешь его лучше, чем кого-либо в своей жизни. — Катрин посмотрела прямо в глаза. — Потому что он тебе снится. А сны — язык душ. Ваши души уже знакомы. Тела просто ещё не успели.

Мадлен закрыла глаза.

Она вспомнила сны — тёплые, тревожные, сладкие. Мужчина, который смотрел на неё через толпу, через время, через расстояние. Глаза — штормовые, глубокие, в которых она видела собственное отражение. Она не знала его имени и не знала, как он выглядит при свете дня. Но знала его прикосновение: во сне оно было таким реальным, что она просыпалась с ощущением его пальцев на коже — на внутренней стороне запястья, там, где кожа тоньше всего и где бьётся жилка.

Было в этих снах одно, о чём она никому не рассказывала. Не поцелуй — до поцелуя там никогда не доходило. Было движение: он брал край её шали и медленно, очень медленно отводил его от плеча, и она стояла, не дыша, и чувствовала, как воздух ложится на обнажённую кожу, — и просыпалась от того, что сердце колотилось так, будто она бежала вверх по лестнице. Ничего не происходило. Всё происходило.

— Что мне делать? — спросила она.

— Идти к нему. Или ждать, пока он придёт. Он уже ищет. Будет здесь через несколько дней, может быть — завтра. Но когда придёт, ты должна быть готова. Готова сделать выбор.

— А если не успею?

— Тогда выбор сделают за тебя. — Катрин отошла к столу и начала сворачивать свитки. — Отдохни. Погуляй по аббатству. Подумай. А завтра начнём подготовку.

— Подготовку к чему?

— К тому, чтобы ты могла принять правильное решение. — Катрин улыбнулась той своей загадочной полубезумной улыбкой, которая могла означать что угодно. — Я научу тебя слышать ночь.

Мадлен вышла из библиотеки и побрела по коридору без цели. Ноги сами принесли её к двери на галерею, и она толкнула её и шагнула навстречу ветру.

Океан лежал до горизонта — серый, бескрайний, дышащий. Волны накатывали на скалы, вскипали белой пеной и отступали, чтобы через мгновение ударить снова. Ветер трепал её волосы, забивал рот солёной пылью, и Мадлен не уходила. Она стояла, вцепившись в каменные перила, и смотрела вдаль.

Где-то там, за этим океаном, за горизонтом, был Жак. Она чувствовала это. Он думал о ней в эту самую секунду. Она знала это так же точно, как знала, что солнце встаёт на востоке.

— Я иду к тебе, — прошептала она ветру. — Возможно, ты идёшь ко мне. И когда мы встретимся — я буду готова.

Ветер завыл громче, словно отвечая ей.

И где-то внизу, в подземелье, скрипка заиграла новую мелодию — не грустную, не тревожную, а светлую. Почти счастливую.

К вечеру она сидела в библиотеке, зарывшись в книги. Не в те, что лежали на столе, — к тем она не притронулась из упрямства, — а в те, что стояли на нижних полках, где пахло

сыростью и старым пергаментом: хроники, уставы, описи имущества, толстый том в потёртом кожаном переплёте с тиснёным названием «Historia abbatiae».

— Ты почти не ела, — сказала Катрин, ставя на стол поднос.

Мадлен посмотрела: половина жареного цыплёнка, сыр, хлеб, кувшин с водой. Запах еды — тёплый, маслянистый, с той жирной ноткой, которая остаётся на пальцах, — заставил желудок сжаться. Она вдруг поняла, что не ела со вчерашнего утра.

— Спасибо, — сказала она, принимаясь за еду.

Катрин села напротив и наблюдала, как она ест. Мадлен чувствовала этот взгляд: внимательный, изучающий, но без того любопытства, с каким смотрят на диковинный экспонат. Скорее с заботой — так проверяют, всё ли в порядке с тем, кто тебе небезразличен, хотя ты и предпочёл бы, чтобы он был безразличен.

— Ты очень быстро осваиваешься, — заметила Катрин, когда Мадлен отодвинула пустую тарелку. — Я думала, ты будешь сопротивляться дольше: кричать, требовать отпустить, грозить полицией.

— А зачем? — Мадлен откинулась на спинку стула. — Ты права в одном: я слишком любопытна, чтобы уйти. Если бы ты отпустила меня сейчас, я вернулась бы через неделю. Сама. Ради продолжения истории.

— Это у вас, Монброн, в крови. — Катрин усмехнулась. — Одержимость. Стремление докапываться до истины, чего бы это ни стоило. Твой отец был таким же. Он однажды три недели просидел в архиве Ватикана, разгадывая шифр, который, как утверждал, должен привести его к могиле Марии.

— И привёл?

— Привёл. Могилы не было. Но он нашёл кое-что другое. — Катрин помолчала. — Записку, написанную рукой Марии. На латыни: «Я не в могиле. Я жду». И он понял. Твой отец понимал такие вещи быстрее, чем кто-либо, кого я встречала. Он понял, что Мария не умерла по-настоящему. И что однажды она может вернуться.

Кожа на руках пошла пупырышками, и Мадлен с досадой отметила, что тело всегда верит первым.

— Мой отец знал, что она не мертва? Что она существует? И не сказал мне?

— Он не сказал, потому что любил тебя. — Катрин посмотрела прямо в глаза. — Он не хотел, чтобы ты несла это бремя. Хотел, чтобы ты прожила свою жизнь: обычную, тихую, книжную. Он знал, что если ты узнаешь правду, то не сможешь усидеть на месте — будешь искать, рисковать, можешь погибнуть. Он умер, так и не рассказав всего, потому что надеялся: тебе не придётся знать.

— Но манускрипт...

— Он оставил его. — Катрин кивнула. — Потому что в последние дни понял: ты уже на пороге. Уже чувствуешь жажду. Уже видишь сны. Прятать правду дальше было бы предательством. Поэтому он оставил тебе ключ. И оставил ключ мне — письмо, в котором просил присмотреть за тобой. Он писал: «Если Мадлен придёт, она будет испугана. Она будет злиться. Она будет сопротивляться. Но она должна узнать правду. Иначе проклятие догонит её и погубит».

К горлу подкатил ком. Мадлен вспомнила отца — вечно взлохмаченные седые волосы, глаза, которые смотрели с такой любовью и такой тревогой одновременно, чернильное пятно на среднем пальце, которое не отмывалось никогда, и то, как он подолгу стоял у окна, глядя не в окно, а куда-то мимо него, туда, где для него всегда было что-то ещё.

Она думала, что он просто старый чудака, погружённый в свои книги. А он каждый день нёс на плечах тайну, которая могла раздавить его, — и нёс так, чтобы она не задела дочь.

— Я скучаю по нему, — сказала Мадлен тихо.

— Я знаю. — Катрин накрыла её руку своей: прохладной, сухой. — Я тоже. Он был хорошим человеком. Лучшим из всех, кто хранил эту тайну. Ты его наследница. И я верю, что ты не подведёшь его память.

Они сидели в тишине, глядя на свечи, и каждая думала о своём: Мадлен об отце, Катрин о времени, которое видело столько смертей и прощаний, что научилось не привязываться, — и всё равно привязалось снова.

— Знаешь, — сказала Мадлен, нарушая молчание. — Я всю жизнь искала правду. Думала, что когда найду её, всё станет на свои места. Станет понятно. Легко.

— И что? Стало?

— Нет. Стало только сложнее.

— Это нормально, — Катрин улыбнулась. — Правда никогда не делает жизнь проще. Она делает её настоящей. А настоящая жизнь всегда сложная. Это сказки простые: пришёл, увидел, победил, женился. А в реальности: пришёл, увидел, задумался, испугался, сделал шаг назад, потом два вперёд, потом упал, потом встал. И только потом — может быть — победил.

— Или не победил?

— Или не победил. Но этот риск и есть жизнь. Без него мы были бы механизмами. Заводными игрушками с хорошими манерами.

Мадлен смотрела на неё. При свете свечей лицо Катрин казалось мягче, чем днём. Морщин у вампиров не было, но тени ложились так, что лицо казалось не мраморным, а живым. Почти человеческим.

— Ты боишься? — спросила Катрин.

— Боюсь. — Мадлен кивнула. — Но больше боюсь не попробовать.

— Это хороший страх. — Катрин поднялась. — Иди спать. Завтра будет трудный день.

— Подожди. — Мадлен положила ладонь на книгу, которую держала на коленях. — Один вопрос. Ты сказала, что он оставил тебе письмо. Ты сказала, что он просил присмотреть за мной. Но ты не сказала, что он был здесь.

Катрин остановилась у двери.

— Он был здесь, — сказала она. — Я говорила.

— Ты сказала: «однажды, две осени назад». Ты сказала это так, как говорят о человеке, который заезжал на час. — Мадлен открыла книгу на закладке. — А он жил здесь. Долго. И читал вот это.

Она повернула книгу к свету.

На форзаце, в левом верхнем углу, был наклеен экслибрис — маленький, гравированный, с гербом Монбронов и надписью «Ex libris A. de M.» Чернила экслибриса выцвели до цвета чая, но буквы читались.

— Это его книга, — сказала Мадлен. — Из его библиотеки. Он привёз её сюда и оставил. А на странице, где описано устройство склепа, — вот здесь, — она развернула книгу и показала, — карандашом, его рукой: «138». И ниже: «ступень есть».

Катрин подошла. Она смотрела на страницу долго, и Мадлен видела, как её пальцы, лежавшие на спинке стула, медленно сжались.

— Я не знала об этом, — сказала она.

— Ты не знала, что он писал на полях?

— Я не знала, что он считал ступени. — Катрин подняла глаза. — Я знала, что он что-то искал в этой книге. Он сидел над ней ночами, и когда я спрашивала, он говорил: «Ищу то, чего здесь нет». Я думала, это метафора.

Мадлен посмотрела на страницу. Текст был старый, латинский, с сокращениями, и речь в нём шла о перестройке: «Anno Domini MDCLII crypta sub bibliotheca excavata est...» — «В год Господень 1652 склеп под библиотекой был выкопан...»

Она прочла это дважды, и на второй раз у неё похолодели пальцы.

— Тысяча шестьсот пятьдесят второй, — сказала она. — Склеп выкопали в тысяча шестьсот пятьдесят втором.

— И что?

— А Мария умерла в тысяча пятьсот восемьдесят девятом. — Мадлен подняла на неё глаза. — На её саркофаге выбито: тысяча пятьсот двадцать четыре — тысяча пятьсот восемьдесят девять. Значит, когда её хоронили, этого склепа ещё не было. Его выкопали через шестьдесят три года после её смерти.

В библиотеке стало тихо так, что слышно было, как в световом колодце оседает пыль.

— Значит, её перенесли, — сказала Катрин.

— Или в этом саркофаге лежит не она.

— Мадлен.

— Я не говорю, что ты лжёшь. — Мадлен закрыла книгу, и хлопок вышел резким, как удар. — Я говорю, что камень, которому ты велела мне верить, не сходится с книгой, которую ты мне дала. Ты сказала: «Камень не лжёт. Лгут только те, кто его резал». Так вот: кто-то резал этот камень позже, чем умер человек, чьё имя на нём выбито. И этот кто-то знал, что делает.

Катрин молчала. Она стояла очень прямо, и в её лице не было ни гнева, ни растерянности — только то выражение, с каким человек пересчитывает в уме давно известную сумму и вдруг получает другой ответ.

— Сто тридцать восемь, — сказала она наконец.

— Что?

— Ступень. — Катрин посмотрела на неё. — Ты сказала, что насчитала сто тридцать семь. Я всегда говорила «сто тридцать семь», потому что так написано в книге. А он написал «сто тридцать восемь».

— И что это значит?

— Это значит, что одна ступень есть, а мы её не видим. — Катрин подошла к столу и оперлась о него обеими руками. — И это значит, что твой отец нашёл то, чего в книге нет. Он сидел здесь ночами и искал ступень, которой не должно быть. А потом уехал — и ничего мне не сказал.

— Почему?

— Потому что не доверял. — Катрин произнесла это без горечи, как говорят о погоде. — Он был умным человеком. Он знал, что в этом доме нельзя доверять даже тому, кто тебя любит. Особенно тому, кто тебя любит.

Мадлен встала. Её слегка покачивало — от усталости, от вина, которого она не пила, от всего сразу.

— Тогда скажи мне одну вещь, — проговорила она. — И скажи честно, потому что я всё равно узнаю, а узнавать это от тебя легче. Зачем тебе, чтобы я прошла через обращение? Не «зачем Марии». Зачем тебе.

Катрин долго не отвечала. Свеча на столе оплыла, и воск потёк по подсвечнику, и капля упала на дерево и застыла.

— Пятьсот лет я держу дверь, — сказала она. — Я стерегу его тайну, её книгу, её могилу, этого мальчика с его снами, и каждое поколение вашего рода, которое рождается с жадой и умирает, не понимая, что с ним было. Я — единственная, кто помнит всех. И я устала, Мадлен. Не от боли — от работы.

— И ты хочешь, чтобы я её закончила.

— Я хочу, чтобы кто-нибудь вошёл в эту дверь и закрыл её изнутри. — Катрин выпрямилась. — Если ты станешь одной из нас добровольно, круг разомкнётся. Жажда уйдёт из крови. Твой род перестанет рождать голодных. И я смогу... — она замолчала, подбирая слово, и слово, которое она нашла, было простым, — уйти.

— Умереть?

— Не обязательно. Просто перестать быть сторожем.

Мадлен смотрела на неё и чувствовала, как в ней борются две вещи: жалость, которая хотела протянуть руку, и та холодная ясность, которая уже знала, что жалость — плохой советчик в делах, где решают за тебя.

— Ты не спасаешь меня, — сказала она. — Ты возвращаешь её.

Катрин не отшатнулась. Не стала отрицать. Она стояла, и пламя свечи отражалось у неё в глазах, и в этом отражении не было ни капли притворства.

— Да, — сказала она. — И то, и другое — правда. Я хочу, чтобы ты жила. И я хочу, чтобы в этом доме снова был кто-то, кто называет меня по имени так, как называла она.

— Это разные вещи.

— Это одни и те же вещи, Мадлен. Просто они выглядят по-разному, когда о них говорят вслух.

Мадлен отвернулась к окну. За стеклом было темно, и в темноте отражалась комната: стол, свечи, две женщины, одна из которых была старше самого камня.

— Я не стану решать сегодня, — сказала она.

— И не надо. — Катрин отошла к двери. — Сегодня ты сделала больше, чем я ждала. Ты нашла то, чего не нашли ни я, ни он.

— Что именно?

— Что я тоже могу ошибаться. — Катрин улыбнулась, и улыбка была усталой и на секунду совсем человеческой. — Спокойной ночи, Мадлен. И... не читай эту книгу ночью. В ней есть страницы, которые лучше читать при свидетелях.

Она вышла. Дверь закрылась тихо, без стука — так закрывают двери в домах, где кто-то спит.

Мадлен ещё долго сидела над раскрытой хроникой, глядя на карандашные цифры. Почерк отца был мелким, экономным, с наклоном вправо; он писал карандашом только тогда, когда не хотел, чтобы написанное осталось. Цифры «138» были обведены дважды, и рядом стоял маленький крестик — точно такой же, каким отец помечал на картах места, куда собирался вернуться.

Она провела пальцем по цифрам и почувствовала подушечкой микроскопическую вдавленность: карандаш прошёл по бумаге дважды, с нажимом. Так пишут, когда хотят запомнить не число, а место.

Потом Мадлен закрыла книгу, унесла её в свою комнату и положила под подушку — не потому, что боялась, что её украдут, а потому, что не хотела оставлять её одну.

Утро началось с того, что Катрин вошла без стука, распахнула тяжёлые гардины и объявила:

— Подъём. У нас много дел.

— Какой час? — Мадлен приподнялась на локте, щурясь от света.

— Полдень. Ты проспала почти полсуток. Хороший знак: тело адаптируется.

Мадлен посмотрела на пол. Тень от переплёта лежала коротко, почти у самой стены, — значит, солнце стояло высоко. Впервые за два дня свет в этой комнате говорил правду.

— Полдень, — согласилась она. — Хорошо. По крайней мере, теперь честно.

— Я думала, ты будешь сердиться.

— Я сержусь. Просто сердиться вслух — роскошь, а у меня, по твоим словам, времени нет.

Катрин усмехнулась и поставила на столик кувшин с водой.

— Я думала, вампиры не спят, — сказала Мадлен, садясь.

— Миф. Мы спим, но меньше: четыре часа в сутки — предел. А когда организм перестраивается, как у тебя сейчас, ему нужно больше. Ты уже не человек, но ещё не вампир. Ты в промежуточной стадии.

— Промежуточной стадии чего?

— Пробуждения. — Катрин бросила на кровать свёрток. — Одевайся. Прогуляемся.

— Подожди. — Мадлен не взяла свёрток. — Если это стадия, у неё есть признаки. Назови их. Все.

Катрин помолчала, и Мадлен поняла, что вопрос ей понравился.

— Ты перестаёшь мёрзнуть, — сказала она. — В комнате холодно, а тебе тепло. Ты слышишь кровь: не свою, чужую — в стенах, за стеной, в соседней комнате, если человек волнуется. Ты спишь меньше и просыпаешься раньше, чем светает. И тебе снится одно и то же лицо.

— Всё?

— Всё, что ты заметишь сама. Остальное заметят другие. — Катрин кивнула на свёрток. — И, Мадлен. Если тебе станет страшно от того, что ты чувствуешь, — скажи мне. Не терпи. Страх в этой стадии делает людей глупыми, а глупость в этой стадии делает их мёртвыми.

Свёрток оказался платьем: тёмно-синим, почти чёрным, с длинными рукавами и высоким воротом. Простым, но элегантным. Мадлен надела его и почувствовала, как ткань холодит кожу — тонкая шерсть, дорогая, с той гладкостью, какая бывает у ткани, которую долго держали в сундуке с лавандой.

Катрин подошла и, не спрашивая, поправила ей воротник — пальцы холодные, быстрые, у самого горла, там, где кожа тоньше всего. Мадлен не отшатнулась. Она стояла и чувствовала, как от этого прикосновения по шее идёт не мурашка даже, а тёплая волна, и как предательски громко бьётся жилка под самой её кожей — так громко, что Катрин, конечно, слышала.

— Вот так, — сказала Катрин и убрала руку. — Теперь ты похожа на женщину, которая собирается что-то решить.

— А до этого я была похожа на что?

— На женщину, которую решили за неё.

Катрин ждала в коридоре в таком же тёмном наряде, но с ярко-алым шарфом на шее — единственным цветным пятном в её облике.

— Идём.

Она повела Мадлен не в библиотеку, а вниз: через подземные переходы, через сводчатые галереи, через залы, где на стенах сохранились остатки фресок — лики святых с выцарапанными глазами и стёртыми нимбами.

— Это старая часть аббатства, — пояснила Катрин. — Её строили ещё в девятом веке. Тогда здесь жили бенедиктинцы. Они верили, что это место, где небо встречается с землёй. Где граница между мирами тонкая.

— И поэтому выбрали его?

— И поэтому. И потому, что здесь было удобно обороняться от викингов. — Катрин усмехнулась. — У монахов была практическая жилка. Они умели одновременно молиться и считать.

Мадлен шла и считала. Не ступени — двери. В старом крыле они попадались редко, через двадцать, через тридцать шагов, и почти все были закрыты; но в одном месте, у поворота, где коридор расширился в маленький зал, она насчитала сразу четыре, и ещё три — в противоположной стене.

Она остановилась.

— Что здесь было?

— Трапезная, потом дортуар, потом лазарет. — Катрин пожала плечами. — Дома живут дольше людей. Они меняют назначение, как человек меняет платье.

— Сколько дверей в этом крыле?

— Я не считала.

— А я считаю. — Мадлен обвела рукой. — Семнадцать. Я прошла от лестницы до этого зала и насчитала семнадцать дверей, из которых открыты три. Ты сказала, что в аббатстве тридцать комнат.

— Я сказала, что в аббатстве тридцать комнат, — согласилась Катрин. — Я не сказала, что все они в этом крыле.

Мадлен пошла дальше и у последней двери, у самого угла, остановилась снова. Дверь была не заперта. Она была заложена.

Кирпич, положенный в проём, был оштукатурен и выбелен, и если бы не ряд мелких трещин по контуру, идущих точно по линии старой коробки, его можно было бы принять за стену. Мадлен приложила ладонь. Штукатурка была холоднее, чем стена рядом, и, когда она постучала костяшкой, звук вышел глухой и в то же время пустой — так стучит кулак по двери, за которой нет комнаты, а есть пустота.

— А это что?

— Это заложили до меня, — сказала Катрин. — Там был ход в западное крыло. Его закрыли, когда западная стена начала садиться.

Мадлен провела пальцем по шву и посмотрела на кладку сбоку, прищурившись, как учил отец: смотреть вдоль стены, а не на неё.

Раствор в шве был светлее, чем раствор в соседних швах, и не имел той мелкой крошки, которую время выбивает из извести за двести лет. И кирпич был ровнее, аккуратнее, машинной формовки, если только в этом веке ещё формовали вручную.

— До тебя, — сказала Мадлен. — А до тебя — это когда?

— Давно.

— Двести лет назад?

— Примерно.

— Раствор светлее, чем в стене, которой двести лет. — Мадлен отступила на шаг. — Его клали не двести лет назад. Его клали тогда, когда у вас уже был хороший каменщик и свежая известь. Лет тридцать назад. Может, двадцать.

Катрин посмотрела на неё и вдруг улыбнулась — открыто, без насмешки, так, как улыбаются человеку, который сделал то, чего от него не ждали.

— Тринадцать, — сказала она. — Тринадцать лет назад. Ты права.

— Зачем?

— Затем, что за этой дверью лестница, которая ведёт не туда, куда ведёт всех. — Катрин пошла дальше, не оборачиваясь. — И я не хочу, чтобы по ней ходили.

Мадлен ещё секунду постояла перед заложённой дверью. Потом догнала её.

Они вышли во внутренний двор — маленький, замкнутый, с колодцем посередине и старой яблоней, которая росла прямо из каменной трещины. Небо над двором было белое, высокое, и в этом квадрате неба кружили голуби, и их тени проносились по стенам, как чьи-то быстрые руки.

— Это мой сад, — сказала Катрин. — Я посадила эту яблоню в тысяча шестьсот сорок третьем, когда узнала, что Мария умерла. Она сохла, болела — но выжила. Как и я.

Мадлен подошла к дереву и коснулась коры. Та была шершавой, тёплой от солнца, живой; под пальцами чувствовалась та особая упругость, какая бывает у старого дерева, — не мягкость, а готовность держать.

— Ты любила её? Марию?

Катрин долго молчала. Когда заговорила, голос звучал иначе — глубже, тише, без обычной насмешки.

— Я любила её больше, чем кого-либо в своей жизни. Она была частью меня. Мы были как две половины одного целого — и, в отличие от большинства таких половин, мы это знали.

Когда она ушла — сначала к Адриану, потом в тьму, потом на костёр, — я потеряла не просто сестру. Я потеряла часть себя. Ту, которую невозможно восстановить.

— И ты никогда не пыталась найти замену?

— Пыталась. — Катрин пожала плечами. — Но таких, как Мария, не бывает дважды. Я встречала многих за эти века. Некоторые были интересными. Некоторые — прекрасными. Но никто не заменил её. — Она посмотрела на Мадлен с неожиданной теплотой. — Никто до тебя.

Мадлен почувствовала, как к горлу подступает ком. Она не привыкла к таким откровениям: в Институте все обращались друг с другом подчёркнуто официально, а дома, после смерти отца, она редко видела живых людей — только книги.

— Знаешь, — сказала Катрин, обрывая яблоко и протягивая его Мадлен. — Когда я была человеком, я жила в замке на севере. У нас был сад: большой, с фонтанами и лабиринтом из живой изгороди. Я любила там прятаться. Отец злился, искал меня часами, а я сидела в самой середине и слушала, как он ругается с садовником. Мне казалось, что если меня никто не найдёт, значит, я существую по-настоящему. Сама по себе.

— И находили?

— Всегда. — Катрин пожала плечами. — Потому что в лабиринте, как ни прячешься, всегда есть выход. И всегда кто-то ждёт снаружи. Теперь я понимаю: одиночество — это не лабиринт. Это небо. Где нет ни стен, ни дорог, ни выхода. Только ты и пустота.

— Ты чувствуешь себя одинокой?

— Я чувствую себя древней, — поправила Катрин. — Одиночество — состояние ума. Древность — состояние тела. Когда тебе пятьсот лет, ты привыкаешь: все, кого любишь, рано или поздно уходят. А ты остаёшься. И учишься быть одна — но не одинокой. Это разные вещи, и разница между ними стоит примерно трёхсот лет практики.

— И как ты этому учишься?

— Смотрю на закаты. — Катрин улыбнулась. — Каждый день. Даже когда дождь. Выхожу на галерею и смотрю, как солнце уходит за горизонт. И думаю: «Я видела это сто тысяч раз. И буду видеть ещё сто тысяч. И каждый раз — по-новому». Вот это и есть бессмертие: не жить вечно, а каждый раз видеть мир впервые — и не уставать удивляться.

Мадлен задумалась. Она никогда не замечала закатов: у неё всегда были дела, книги, загадки. Она смотрела на мир через увеличительное стекло архивариуса, разглядывая детали и не видя целого. А Катрин, кажется, видела всё. И принимала. И не боялась.

— Я хочу научиться так же, — сказала Мадлен.

— Научишься. — Катрин хлопнула её по плечу. — У тебя будет на это вечность. А пока идём: покажу кое-что ещё.

Они прошли через старую часовню, где под слоем штукатурки угадывались древние фрески: библейские сцены, написанные красной и синей охрой. Катрин остановилась у стены, где изображение почти стёрлось, и провела по ней пальцем.

— Здесь был архангел Михаил. Я видела его, когда краска была ещё свежей. Мне было тогда лет сто: молодая, глупая, только что обращённая. Я пришла сюда, чтобы проверить, смогу ли войти. И смогла. Потому что церковь не изгоняет нас, Мадлен. Это предрассудок. Мы создания ночи — правда. Но мы не порождение зла. Мы просто другая форма жизни. И если Бог есть, он не против нас. Он против того, чтобы мы забывали, кто мы.

Мадлен подошла к порогу и остановилась. Потом, глядя Катрин в глаза, шагнула через него.

Ничего не произошло. Не было ни жара, ни холода, ни того особого внутреннего сопротивления, о котором писали в отчётах Института. Был каменный пол, вытертый до блеска, и запах старой извести, и голуби на балке под потолком.

— Видишь? — сказала Катрин.

— Вижу. — Мадлен прошла к алтарю. — И ещё вижу, что здесь тепло.

— Часовня обращена на восток. Утром здесь всегда тепло.

— Сейчас полдень, — сказала Мадлен и приложила ладонь к полу у самой алтарной ограды. — И тепло идёт снизу. Не от солнца. От пола.

Она присела и провела рукой по плитам: у алтаря они были тёплыми, как остывающая печь, а в двух шагах — холодными. Тепло шло узкой полосой, повторявшей контур ограды, и уходило под неё.

— Под часовней что-то есть, — сказала она. — Комната. Или ход. И в ней топят.

Катрин смотрела на неё сверху и молчала так долго, что Мадлен подняла голову.

— Ты опять не скажешь.

— Я скажу, — проговорила Катрин. — Только не сейчас. Сейчас я скажу другое: то, что ты сейчас делаешь, — это то, чего не делал никто из твоего рода. Они приходили сюда, чтобы узнать, кто они. Ты пришла, чтобы узнать, что это за дом.

— А это не одно и то же?

— Нет. — Катрин протянула ей руку, и Мадлен, помедлив, взялась за неё и поднялась. — Дом переживёт тебя. Кто ты — переживёт только тебя.

Они вышли из часовни, и в дверях Мадлен обернулась. На стене, там, где стёрся архангел, в косом свете проступило что-то ещё: тонкие линии, процарапанные по штукатурке, — не рисунок, а надпись. Буквы были выведены неумело, но старательно, и от времени почти сравнялись с фоном.

Она подошла ближе и прочла.

«ORA PRO NOBIS»

— «Молись за нас», — сказала Катрин за её спиной.

— Кто это написал?

— Тот, кто хотел, чтобы за него помолились. — Катрин помолчала. — В этом доме таких много.

Во дворе их ждала женщина с вязанкой хвороста — та самая, что тёрла пол. Увидев Мадлен, она остановилась и попятилась, и хворост в её руках качнулся.

— Тереза, — сказала Катрин. — Что ты делаешь в старом крыле?

— Печи, госпожа. — Женщина опустила глаза. — В часовне печь топить надо, а хворост сырой.

— Сырой хворост в часовне? — переспросила Мадлен.

Тереза посмотрела на неё, и в её глазах мелькнуло что-то — не страх, а предупреждение, как у человека, который хочет сказать больше, чем может.

— Там тепло нужно, барышня, — сказала она тихо. — Не для людей. Для камня. Камень, если его не греть, плачет.

— Камень не плачет.

— Этот плачет. — Тереза перекрестилась быстрым, мелким крестом. — Я вам не скажу больше, барышня. Мне за это не платят.

Она ушла, и хворост шуршал у неё за спиной, как шёлк.

— Что она имела в виду? — спросила Мадлен.

— Что в этом доме есть места, где камень отсыревает так, что начинает капать. — Катрин смотрела ей вслед. — И что Тереза боится не меня, а того, что за западной стеной.

— За той, где заложена дверь?

— За той, где заложена дверь. — Катрин повернулась и пошла к лестнице. — Иди. Тебе нужно отдохнуть. Сегодня ночью будет луна.

— И что?

— И то, что ты обещала прийти в полнолуние. — Катрин поднялась на две ступени и обернулась. — Оно через три дня. Я хочу, чтобы к тому времени ты знала, о чём будешь говорить.

Ночью, перед тем как лечь, Мадлен вышла на балкон.

Луна — почти полная — висела над океаном, прокладывая по воде дрожащую серебряную дорожку. Мадлен смотрела на неё и думала о Жаке. О снах. О том, что Катрин сказала про души, которые уже знакомы.

— Где ты сейчас? — спросила она у ночи. — О чём думаешь?

Ответа не было. Только ветер. Только волны.

Но где-то глубоко внутри, в том самом месте, где пульсировала жажда, что-то отозвалось. Словно кто-то невидимый положил ладонь на её душу и держал — терпеливо, не отпуская.

Мадлен вернулась в комнату, села за стол, достала лист, на котором утром писала в библиотеке, и развернула его. Чернил у неё не было. Она взяла уголёк из камина — обожжённый, чёрный, с одной стороны острый — и стала писать, проговаривая вслух, потому что вслух ложь не держится.

— Первое. Мне сказали «двенадцать часов». Было двадцать шесть. Мотив: торопить.

— Второе. Платье перешито дважды, метка «M. de M.», ткань старая. Мотив: скрыть, что меня ждали давно.

— Третье. Записка и лилия на карте — одни чернила. Кто-то писал в этом доме недавно и не считал нужным это скрывать.

— Четвёртое. Маршрут на карте — рука отца. Мне сказали «был однажды»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.